БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ

П. А. Стеллиферовский



ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БАРАТЫНСКИЙ

БАРАТЫНСКИЙ

Мой дар убог, и голос мой не громок,

Но я живу, и на земли моё

Кому-нибудь любезно бытиё:

Его найдёт далёкий мой потомок

В моих стихах; как знать? душа моя

Окажется с душой его в сношенье,

И как нашёл я друга в поколенье,

БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ

П. А. Стеллиферовский

ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БАРАТЫНСКИЙ

КНИГА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
СТАРШИХ КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

МОСКВА
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
1988

ББК 83.3Р1
С79

Оформление *О. М. Ивановой*

На вклейке к книге воспроизведены фотоматериалы из музейных экспозиций и изданий прошлых лет

Рецензенты:
кандидат филологических наук *Л. Е. Ляпина;*
учитель средней школы № 204 Москвы *Н. Ф. Онуфриева*

Стеллиферовский П. А.
С79 Евгений Абрамович Баратынский: Кн. для учащихся ст. классов сред. шк. — М.: Просвещение, 1988. — 208 с.: ил. — (Биогр. писателя).
ISBN 5-09-000205-3

Юные читатели познакомятся с жизнью и творчеством Е. А. Баратынского, одного из самых оригинальных поэтов XIX века, художника-философа, романтика, проницательного лирика и самобытного мыслителя, друга и соратника А. С. Пушкина.

Книга окажет помощь старшеклассникам при подготовке к урокам литературы и факультативным занятиям, посвященным поэзии пушкинской эпохи.

С $\frac{4306020000—347}{103(03)—88}$ 261—88 **ББК 83.3Р1**

ISBN 5-09-000205-3

ПОЭТ И ЕГО ЧИТАТЕЛИ

«Из всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место бесспорно принадлежит г. Баратынскому». Первый после Пушкина, гений которого стал мерилом высоты творческих дерзаний... Каков же он, этот поэт, удостоившийся такой похвалы из уст самого Белинского, известного взыскательностью оценок и критических суждений? Нам, читателям конца XX века, открывающим — может быть, впервые? — томик стихотворений и поэм Баратынского, написанных более полутора столетий назад, еще предстоит ответить на этот вопрос. Но ведь его задавали и до нас...

Самое весомое слово — Пушкина. В его стихах и письмах, заметках и статьях имя Баратынского упоминается едва ли не чаще других. Современники свидетельствуют, что Пушкин любил Баратынского как человека и как поэта с какой-то удивительной нежностью и сердечностью. При нем нельзя было сделать ни малейшего замечания о стихах брата по музе. Трижды Пушкин принимался за статьи о Баратынском, но все они, к сожалению, оставались незавершенными. Статью 1830 года Пушкин начал знаменательными словами: «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален — ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко. Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого, хоть несколько одаренного вкусом и чувством». Запомним эти слова — в них сказано главное.

Необычный талант Баратынского по достоинству оценили лишь наиболее проницательные современники. И среди них — В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, В. К. Кюхельбекер, Ф. Н. Глинка, К. Ф. Рылеев, А. А. Бестужев, А. А. Дельвиг, В. Ф. Одоевский, Н. И. Гнедич, А. И. Одоевский, А. И. Тургенев,

Д. В. Давыдов. Известный журналист и историк Н. А. Полевой, подготовивший к изданию первый поэтический сборник Баратынского, как бы выражая общее мнение единомышленников, писал: «Имя Баратынского принадлежит к числу почетнейших имен нового поколения русских поэтов. В романтической поэзии русской он самостоятельный поэт, не подражатель, но творец, и в том роде, в котором он пишет, доныне никто с ним не сравнялся».

Но отношение широкой читательской публики к Баратынскому было весьма неровным. Его первые стихотворения — а это в основном элегии — имели шумный успех. Баратынский в 20-е годы прошлого столетия — один из самых популярных авторов многочисленных журналов и альманахов. Его произведения переписывают в альбомы и памятные тетради, заучивают наизусть, многие юные читатели излагают словами поэта свои чувства. Но талант поэта мужает, развивается, взрослеет — в нем все более проявляется «необщее выраженье» музы Баратынского. А публика не успевает за ним, требует прежних стихов и, не получая их, отворачивается от поэта. Как прав был тонкий ценитель поэзии, известный мыслитель и литературный критик И. В. Киреевский (мнение его высоко ставил Пушкин), предвидя такой поворот: «Чтобы *дослышать* все *оттенки* лиры Баратынского, надобно иметь и тоньше слух, и больше внимания, нежели для других поэтов. Чем более читаем его, тем более открываем в нем нового, незамеченного с первого взгляда, — верный признак поэзии, сомкнутой в собственном бытии, но доступной не для всякого».

Да, мало кто сумел по-настоящему «дослышать». И потому столь дорого для нас мудрое и достойное самопонимание и самопризнание поэта, сложившего в 1829 году чуткое стихотворение «Муза»: «Не ослеплен я музою моею...»

С каждым новым стихотворением самобытность Баратынского проявляется все отчетливее. Из-под его пера выходят такие шедевры русской философской лирики, как «Последний поэт», «На что вы, дни!», «Все мысль да мысль», «Осень», которые наряду с прекрасными элегиями 20-х годов принесут позднее ему славу одного из самых глубоких лириков XIX столетия. А пропасть между ним и широкой публикой все

увеличивается. Требуют легкости, а поэтическая строка Баратынского становится все чеканнее и строже. Ищут беззаботности и веселости, а поэт все глубже вглядывается в тайны человеческого бытия и бесстрашно обнажает в слове тревожные раздумья о мироздании.

На первый взгляд, получался какой-то парадокс: чем лучше — тем хуже. Но не будем торопиться с выводами. Русская классическая литература в том виде, в каком мы сегодня ее знаем, тогда, в начале XIX века, еще только складывалась. Буйно, особенно в поэзии, пробивались ростки романтизма. Ему нужен был свой — понимающий — читатель. Старое же поколение было воспитано на строгих правилах классицизма XVIII века, а молодое — либо на образцах легкой французской поэзии, либо в духе сентиментальных повестей. Значительное большинство читателей тех лет видело в литературе всего лишь развлечение, чуть ли не забаву. Надо было воспитывать читательские вкусы, создавать умную и образованную критику, приучать общество к взгляду на литературу как на занятие серьезное и необходимое. Да и самим писателям надо было еще осознать, что их труд нелегок, общественно значим и должен стать делом жизни. Что сочинивший две-три элегии или эпиграммы — еще не поэт, что гладкопись — не поэзия.

А на смену романтизму, разрушавшему сами основы прежних общественных и художественных представлений, уже выходило новое, реалистическое искусство, более демократичное и доступное. Проза теснила поэзию, литература становилась достоянием все более широкого читателя. Одним словом, шла напряженная литературная жизнь со сменой настроений и симпатий, со своими кумирами и неудачниками, с борьбой старого и нового. И конечно, не всегда современники могли дать справедливую оценку тому или иному явлению — нужна дистанция, чтобы во всем разобраться. Как же не похожа порой хорошо нам известная история литературы, выверенная трудом многих поколений читателей и ученых, на тот литературный материал, из которого она создавалась!

Ну а Баратынский? Как он относился к происходящему? Вот несколько отрывков из его писем 30-х годов к друзьям. Вчитаемся повнимательнее: это при-

знания истинного мыслителя и высоконравственного человека, осознающего свою ответственность перед людьми и историей.

— Я не отказываюсь писать; но хочется на время, и даже на долгое время, перестать печатать. Поэзия для меня не самолюбивое наслаждение.

— Поблагодарим провидение за то, что оно нас подружило и что каждый из нас нашел в другом человека, его понимающего, что есть еще несколько людей нам по уму и по сердцу. Заключимся в своем кругу, как первые братия христиане, обладатели света, гонимого в свое время, а ныне торжествующего. Будем писать, не печатая.

— Россия для нас необитаема, и наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления.

— Совершим с твердостию наш жизненный подвиг. Дарование есть поручение. Должно исполнить его, несмотря ни на какие препятствия...

Какое точное подтверждение пушкинской характеристики — поэт и человек Баратынский «мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко»! Но еще более разительное подтверждение найдем мы в его поэтических строках, удивительных по своей скромности, наполненных верой в неизбывность людского тепла и доброты, скрепленных мудрым пониманием происходящего:

Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.

Совершенно непостижимым, кажется, образом так верно предвосхитил свою историческую судьбу двадцативосьмилетний поэт. Прошло менее двадцати лет, и это пророчески подтвердил Белинский: «Читая стихи Баратынского, забываешь о поэте и тем более видишь перед собою человека, с которым можешь не соглашаться, но которому не можешь отказать в своей симпатии, потому что этот человек, сильно чувствуя, много думал... Мыслящий человек всегда

перечтет с удовольствием стихотворения Баратынского, потому что всегда найдет в них *человека* — предмет, вечно интересный для человека».

Вот так ответили лучшие современники поэта на вопрос, каков Баратынский и какое место следует отвести ему в истории русской поэзии.

Продуманное, взвешенное слово Белинского о поэте было сказано в 1845 году — через год после смерти Баратынского. Свой строгий отсчет начала история. Началась проверка временем — на читательскую любовь. Вслушиваясь сегодня в разноголосицу читательских мнений, можно сказать уверенно: эту проверку Баратынский выдержал с честью, как и при жизни. И не беда, что порой о нем судили поверхностно, не умея понять истиный смысл его творений, что поэта пытались представить эдаким беспросветным пессимистом, отвернувшимся от будущего, что, наконец, кое-кто посчитал Баратынского, как и его великого современника, да и всю пушкинскую плеяду, просто устаревшими для нового времени. Поэтические раздумья автора «Признания» и «Рифмы» по-прежнему были близки наиболее чутким читателям, а в их число входили и самые пристрастные, требовательные — мастера слова.

«Одним из лучших и благороднейших деятелей лучшей эпохи нашей литературы» назвал Баратынского И. С. Тургенев, много сделавший для сохранения памяти о нем. Как «поэта мысли» оценивал его Н. Г. Чернышевский. В одном из писем к А. А. Фету любопытное признание сделал Л. Н. Толстой: «С вашими стихотворениями выписал я Тютчева, Баратынского и Толстого. Сообществом с Тютчевым, я знаю, что вы довольны. Баратынский тоже не осрамит вас своей компанией...» Стихотворение Баратынского «Смерть» включил великий писатель в первое издание своего знаменитого «Круга чтения».

К числу «очень почетных имен нашей литературы» относил поэта И. А. Бунин, считавший его «искренним и страстным искателем истины». Стихи Баратынского почитал А. А. Блок. Среди самых любимых однажды он назвал «Когда взойдет денница золотая...», «В дни безграничных увлечений...» и «Наслаждайтесь: все проходит!..». Стихотворение Блока «Е. А. Баратынскому» начинается с характерного обращения:

«Тебе, поэт, в вечерней тишине Мои мечты, волненья и досуги». Знаменательно и признание В. Я. Брюсова, неустанно изучавшего и пропагандировавшего творчество поэта, который оказал на него плодотворное влияние: «Я люблю Баратынского, я знаю, кажется, все его стихи наизусть».

Среди читателей-поэтов более близкого нам времени также немало искренних ценителей музы Баратынского. Это П. Г. Антокольский и Н. Н. Асеев, Н. А. Заболоцкий и Е. М. Винокуров. «Глубиной мысли, свободой и смелостью выражения самых сокровенных чувств, «достоинством обдуманных речей», — писал о Баратынском С. Я. Маршак, — он навсегда завоевал одно из почетнейших мест в русской поэзии». А поэт В. А. Рождественский в книге «В созвездии Пушкина», адресованной молодому читателю, отчетливо высказывает мысль, которая очень близка словам Белинского, открывшим эту книгу, и нашим сегодняшним представлениям: «В созвездии Пушкина «Гамлет-Баратынский» является безусловно звездой первой величины. Это было понятно не всем современникам поэта, но стало совершенно ясно для последующих поколений».

Вот так отвечают наши современники на вопрос о Баратынском и его месте в истории поэзии.

Что ж, наступила и наша пора, читатель, поближе познакомиться с Евгением Баратынским — человеком и поэтом. История читательских отношений к нему при жизни и позже полна драматизма и таит множество вопросов, ответы на которые надо искать в его стихах и поэмах, прозе и письмах, в обстоятельствах жизни, в отношениях с друзьями и недругами, в мыслях и поступках. Давайте вместе — не торопясь, всматриваясь, обдумывая — находить эти ответы, наши ответы.

Знакомясь с жизнью человека далекой от нас эпохи, мы, естественно, будем опираться на свидетельства современников, изыскания биографов и историков литературы, ибо изучение биографии предполагает в первую очередь добросовестное знание фактов, ощущение самого духа времени. Иное дело — творчество поэта. Его исторически верное понимание, правильная оценка также требуют хорошего знания литературной жизни тех лет, вкусов и умонастроений

людей — ведь писатель творит не в безвоздушном пространстве, его талант формируется под влиянием существующих общественных взглядов и художественных идей. Но читательское восприятие литературного произведения вместе с тем очень индивидуально, даже интимно. На нем сказываются вкусы самого читателя, его мироощущение, степень человеческой зрелости и культурной подготовки. Когда ты один на один с книгой, с писателем — ты свободен в чувствах и мыслях, в симпатиях и пристрастиях.

Это прекрасно и очень ответственно. Репутация писателя, как и всякого человека, складывается не вдруг, постепенно. Каждый из нас дает свою оценку художественному произведению, выводит свое мнение о его авторе. Соединяясь, они создают общее мнение, становятся традицией отношения к писателю. Здесь не место прямолинейным выводам, у творчества, особенно поэтического, свои законы, зачастую не вмещается оно в привычные житейские представления. Не всякий факт жизни становится фактом творчества. В писательском восприятии события, реалии порой образуют такой сплав, что и не скажешь сразу, откуда пришли мысли, чувства, ставшие художественным словом. Ясно одно — возникло новое, в мире еще не бывшее, и понять его можно, лишь познав те внутренние законы, по которым оно создавалось. Так что читательский труд нелегок и деликатен.

Но не забудем и о том, что писательский труд — не забава, не игра в слова. Он — для всех, для современников и потомков. Слово писателя есть его дело. Степень таланта накладывает и степень ответственности за свое слово перед людьми и историей. Вернитесь к простому и честному самонаказу Баратынского из письма к другу: «Дарование есть поручение». Перечитайте еще раз проникновенные строки его стихотворений «Муза» и «Мой дар убог...». Герой нашей книги свою ответственность понимает в полной мере, должны оправдать его ожидания и мы. Ведь, может быть, именно от нас в чем-то будет зависеть отношение к нему читательских поколений, идущих следом. Будем помнить, что перед нами Баратынского читали Пушкин и Белинский, Тургенев и Толстой, Блок и Бунин, Заболоцкий и Маршак, Антокольский и Асеев... Читатель, подобно писателю, тоже звено в цепи культуры,

духовной жизни общества. И невозможно, чтобы цепь оборвалась.

Теперь, пожалуй, внутренне мы готовы к встрече с поэтом. Осталось несколько частных замечаний, которые должны предотвратить возможные вопросы или недоумения.

Первое. Все даты в книге, касающиеся событий прошлого столетия, кроме специально оговоренных, даются по старому стилю. Это принято в научной, учебной и популярной литературе, и отступать от традиции нет смысла да и неверно.

Второе. До сих пор среди литературоведов ведутся споры о правильности написания фамилии поэта — «Боратынский» или «Баратынский». Представляется, что начертание ее через «а» в большей степени отвечает истине. Дело в том, что сам поэт многие свои письма и деловые бумаги подписывал «Боратынский», хотя известны и исключения. А вот все художественные прозведения, кроме сборника «Сумерки», печатал с подписью «Баратынский». При его жизни критики использовали в своих отзывах только эту форму. Также писали Пушкин, Белинский, Толстой, Бунин, Брюсов, так в основном делают и сейчас в специальных и популярных изданиях. Желание возобновить ныне написание через «о» на том основании, что фамилия произошла когда-то от названия польского замка Боратын, думается, неправомерно. И законы нашего языка, и традиция против этого. Вполне возможно также, что начертание «Баратынский» представляет собой псевдоним из разряда, как выражаются специалисты, искажений действительных фамилий. Подобные примеры в истории литературы, по свидетельству авторитетного «Словаря псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей» И. Ф. Масанова, не единичны. Во всяком случае в таком виде фамилия поэта появлялась под его публикациями и вошла в историю литературы. Что же касается причины выхода сборника «Сумерки» под фамилией «Боратынский», то предполагаемое объяснение будет дано при разговоре об этом периоде жизни поэта.

И, наконец, третье — о материале книги: источниках и первоисточниках. Стихи, поэмы, проза, письма — каждый из нас может открыть томик Баратынского и познакомиться с ними непосредственно, так сказать,

по первоисточнику. Всякое поколение читателей поступает таким образом. Нелепо и подумать о знакомстве с литературой, как и с изобразительным искусством, музыкой, театральными постановками и кинофильмами, по пересказам или чужим мнениям. Другое дело — историко-биографические сведения. Их почти за полтора столетия изучения жизни Баратынского накоплено исследователями немало. А еще свидетельства и воспоминания современников, документы тех лет, архивные находки... Естественно будет опереться на них, самим услышать непосредственное разнообразие голосов очевидцев, ощутить в их мнениях, переписке сам дух далекого времени, использовать результаты изысканий — особенно в популярной книге.

А чтобы не перегружать и не тормозить наш рассказ всевозможными ссылками и оговорками, обязательными в чисто научных работах, назовем здесь основные издания, обобщающие ныне известное. Этого требует этика, это может оказаться полезным для особо заинтересованного читателя. Богатый биографический материал содержат «Сочинения Е. А. Баратынского» (М., 1869), которые подготовила семья поэта, располагавшая авторитетными документами, ныне утраченными. Обширные свидетельства, касающиеся жизни и творчества поэта, собраны в «Полном собрании сочинений Е. А. Боратынского» (т. I, СПб., 1914; т. II, Пг., 1915) и книге «Е. А. Боратынский. Материалы к его биографии. Из Татевского архива Рачинских» (Пг., 1916). Немало любопытных биографических фактов приводит П. П. Филиппович в своем исследовании «Жизнь и творчество Е. А. Боратынского» (Киев, 1917).

Добротность и научная тщательность отличают выпущенный в советское время двухтомник «Баратынский. Полное собрание стихотворений» (М.—Л., 1936), а также подготовленный на его основе сборник «Е. А. Баратынский. Полное собрание стихотворений» (Л., 1957). Весьма авторитетна и насыщена важными материалами книга «Е. А. Боратынский. Стихотворения, поэмы, проза, письма» (М., 1951). Немалый интерес для широкого читателя представляет художественное произведение о поэте Дм. Голубкова «Недуг бытия. Хроника дней Евгения Баратынского» (2-е изд. М., 1981). Полезно и знакомство с умело

подготовленным сборником литературно-критических высказываний поэта «Е. А. Боратынский. Разума великолепный пир. О литературе и искусстве» (М., 1981). Научная полнота и выверенность сведений характеризуют выпущенное в серии «Литературные памятники» издание «Е. А. Баратынский. Стихотворения и поэмы» (М., 1982). Солидный историко-литературный и биографический материал содержит изданный большим тиражом сборник «Евгений Баратынский. Стихотворения. Проза. Письма» (М., 1983), куда включены свыше 100 писем поэта и краткий хронограф его жизни и творчества. Особо следует назвать книгу норвежского ученого Гейра Хетсо «Евгений Баратынский. Жизнь и творчество», опубликованную на русском языке в 1973 году и ставшую благодаря огромному биографическому и историко-литературному материалу, тщательно собранному и умело систематизированному автором, надежным путеводителем для читателей и исследователей.

Думается, требовательному читателю для лучшего понимания тех или иных сторон художественной деятельности поэта и выработки собственного о ней мнения будет полезно познакомиться и с пока еще малочисленными историко-литературными публикациями последних лет. Это книги Е. Н. Лебедева «Тризна. Книга о Е. А. Боратынском» (М., 1985), Л. Г. Фризмана «Творческий путь Баратынского» (М., 1966), И. М. Семенко «Поэты пушкинской поры» (М., 1970, глава «Баратынский»), В. Д. Сквозникова «Реализм лирической поэзии» (М., 1975, глава «Поэтика «отборных слов» и точности обычного слова»), С. Г. Бочарова «О художественных мирах» (М., 1985, глава «Обречен борьбе верховной...»).

Настоятельно рекомендую читателю не избегать содержательных по материалу и проницательных по авторскому взгляду вступительных статей и послесловий к различным сборникам Баратынского недавнего времени, которые написаны С. Г. Бочаровым, В. И. Коровиным, Е. Н. Купреяновой, Е. Н. Лебедевым, И. Н. Медведевой, К. В. Пигаревым, Л. Г. Фризманом. Исследователей творчества поэта еще немного, но все они чутки и добросовестны.

Ну вот — слово за нами, читатель.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

УТРО ЖИЗНИ

СЕМЬЯ БАРАТЫНСКИХ

Евгений Абрамович Баратынский родился почти на рубеже XVIII и XIX веков. По отцовской линии он принадлежал к старинному дворянскому роду. Как считают, родоначальником всех семейств, имеющих герб Корчак, а к ним принадлежали и далекие предки Баратынских, был военачальник Зоард, живший в V веке. Один из его потомков — Дмитрий Божедар, полководец и коронный подскарбий польского королевства (т. е. казначей, ведавший королевскими сокровищами и чеканкой монеты), построил в XIV веке в Галиции замок Боратын, что значит «божья оборона». Его сын Дмитрий, унаследовавший замок, по существовавшей традиции стал именоваться Боратынским.

Нельзя сказать, что Боратынские сыграли видную роль в польской истории, но их имена встречаются в ней нередко и не в последнем ряду. Так, в первой половине XVI века Ян Боратынский неоднократно отличался в сражениях — в одном из них, как свидетельствуют древние источники, во главе собственной дружины из 400 человек он дрался как лев и чуть ли не замертво был подобран своими воинами. Ян участвовал в походах польского короля Сигизмунда I Старого и был назначен старостой, т. е. городским руководителем. Еще большую известность получил его сын Петр Боратынский, ученый-юрист и блестящий оратор, пользовавшийся большим уважением при дворе короля Сигизмунда II Августа. Петр был старостой и каштеляном (сенатором) и принимал активное участие в законодательной работе правительства, избирался председателем (маршалом) одного из сеймов — собраний депутатов. Он умер в 1558 году и похоронен в королевском соборе в Кракове, что свидетельствует о его широкой государственной деятельности. Известен в истории и Ипполит Боратынский, герой одноименного романа, переведенного с польского на французский и немецкий языки.

Во второй половине XVII века один из Боратынских — Иван Петрович переселился в Россию и принял русское подданство. Он стал родоначальником русских Баратынских. Будучи шляхтичем, т. е. дворянином, Иван Петрович был пожалован имением Голощапово в Бельском уезде Смоленской губернии, где и умер в начале XVIII века. Среди его потомков много военных — хорунжий и прапорщик, мичман и поручик: русские Баратынские, как и польские представители фамилии, верой и правдой служили отечеству. Поручиком, а впоследствие и титулярным советником был Андрей Васильевич Баратынский, дед поэта. Со своей женой Авдотьей Матвеевной, бабушкой Евгения, он жил в имении Подвойское Бельского уезда Смоленской губернии, в котором позже не раз побывает внук и которое в трудную пору жизни сыграет для юноши целительную роль.

Их сыновья были рано, по традициям времени, определены по разным военно-учебным заведениям — корпусам — и сделали блестящую военную и государственную карьеру. Абрам Андреевич, отец поэта, стал генерал-лейтенантом и сенатором, Богдан Андреевич — вице-адмиралом, Петр Андреевич — сенатором, Илья Андреевич — контр-адмиралом.

Подобно многим дворянским детям, Абрам Андреевич Баратынский был с детства записан в военную службу — вспомним Петрушу Гринева из «Капитанской дочки», который, еще не родившись, был уже сержантом гвардейского Семеновского полка, а на семнадцатом году отправился в армию. Так и отец поэта восьми лет числился капралом, а восемнадцати начал службу подпрапорщиком лейб-гвардии Преображенского полка. Он довольно быстро продвигался по служебной лестнице и в 1790 году стал капитаном, участвовал в войне против шведов, побывал в Стокгольме.

В то время находившаяся при дворе фрейлина Е. И. Нелидова, близкая родственница Баратынских, приобрела значительное влияние на цесаревича Павла. Она-то и обратила внимание будущего императора на молодых братьев, которые вскоре сделались его любимцами. Абрам Андреевич был назначен командиром Павловской, Гатчинской и Каменно-Островской команды, близкой сердцу цесаревича. После восшествия

Павла I на престол молодой офицер был взят к нему адъютантом в чине полковника.

В 1796 году ему и брату Богдану Андреевичу пожаловали большое поместье Вяжля в Кирсановском уезде Тамбовской губернии, в следующем году Абрам Андреевич получил орден св. Анны I степени и чин генерал-майора.

Казалось, судьба еще долго будет благоприятствовать двадцатидевятилетнему генералу. В декабре 1797 года он посватался к любимой фрейлине императрицы Марии Федоровны — дочери коменданта Петропавловской крепости, блестящей выпускнице Смольного института Александре Федоровне Черепановой. В конце января 1798 года отпраздновали свадьбу. Брак этот свершился по сердцу и стал, по-видимому, счастливым. Абрам Андреевич был человеком добрым, порядочным, тонко чувствующим, нежно привязанным к родным. Окружающие отмечали его ласковое обхождение и гуманное отношение к людям, «благородную добросовестность» и «ангельское сердце». Об Александре Федоровне мемуаристы пишут как о женщине отменно умной и образованной, в которой «благородство характера, доброта и нежность соединялись с возвышенным умом и почти не женской энергией». В Смольном институте, привилегированном учебном заведении для девушек из высшего общества, она обучалась музыке, танцам, французскому, итальянскому и немецкому языкам. Известно, что Александра Федоровна владела и английским языком, а для тогдашней России это было весьма редким явлением. Мы знаем, что и много позже, в конце 30-х годов XIX века, знание русской женщиной английского языка удивляло и служило характеристикой — в «Герое нашего времени» доктор Вернер, рассказывая Печорину о княжне Мери, специально выделяет: она «читала Байрона по-английски и знает алгебру».

Письма Абрама Андреевича тех лет к отцу говорят о том, что он крайне доволен и службой и, главное, переменой в личной жизни: «Я нашел друга искреннего мне по сердцу, я счастлив... Еще в первый раз ощущаю тихое спокойстие в душе моей; дружество и любовь я ощущаю вместе, и каждая из них наперерыв дает мне чувствовать мое счастие». Но — милости милостями, а служба службою...

Молодого генерала направили по губерниям делать смотр полкам, обучать их новому, на прусский манер, крайне непопулярному в русской армии военному уставу. Абрам Андреевич, будучи человеком не только исполнительным и способным, но и порядочным, хорошо справился с нелегким поручением. Известный мемуарист прошлого, автор интересных «Записок» Ф. Ф. Вигель так описал приезд Баратынского для инспектирования войск в Киевскую губернию: «Узнали, что приехал из Петербурга генерал-адъютант Боратынский, о котором дотоле не слыхивали. Все вздрогнули, все ожидали видеть людоеда (красноречивое определение, много говорящее о самом императоре и его посланцах. — *П. С.*), — тем приятнее все были изумлены, когда узнали сего почтенного, тогда еще довольно молодого человека, благонамеренного, ласкового, со столь же приятными формами лица, как и обхождения».

Достойно выполнил Баратынский и другое непростое поручение Павла I — посетить отставленного от службы Суворова, с тем чтобы «осмотреть, все ли в порядке по предписаниям... делается». Известно, что в отличие от правящих верхов он с большой симпатией относился к великому полководцу и во время посещения выказал ему свое уважение. Баратынский, по свидетельству современника, «сожалел о судьбе, постигшей героя, и не в силах был, по-видимому, понять, что Суворов может быть отставлен от службы по наушничеству низких интриганов».

Подобная самостоятельность и независимость мышления не могли остаться без последствий. Еще в то время, когда Павел был наследником престола, Абрам Андреевич уже попадал в немилость и его должности были переданы хитрому царедворцу Аракчееву. Но тогда обошлось. Теперь же подозрительность и вспыльчивость императора дорого стоили его бывшему любимцу. Осенью 1798 года в чине генерал-лейтенанта он был уволен со службы с разрешением — знак милости! — носить военный мундир. Возможно, это частично связано и с опалой Е. И. Нелидовой. Она была вынуждена уехать из Петербурга в начале сентября того же года, а вскоре последовало отстранение целого ряда людей, которым покровительствовала бывшая фрейлина.

Абрам Андреевич с женой отправился в свое тамбовское поместье Вяжля и поселился в той части большого села, которая носит название Мара. Здесь 7 марта (19 по новому стилю) 1800 года родился их старший сын Евгений[1].

Отставной генерал вскоре примирился с положением помещика. Он увлекся хозяйственными делами, много энергии отдавал устройству имения, ставшего настоящим родовым гнездом: в 1801 году у Баратынских родилась дочь Софья, через год — сын Ираклий, потом — Наталья, Варвара, Сергей, Лев. Будучи в 1803—1806 годах предводителем дворянства Тамбовской губернии, Абрам Андреевич заботился о распространении просвещения и поддержании училищ в крае, по мере возможности боролся с казнокрадством и взяточничеством.

Баратынские пользовались большим уважением в губернии. Их гостеприимный дом сделался своего рода культурным очагом, где собирались не только близживущие соседи, но и знакомые из дальних мест. Тихая, мирная жизнь благотворно сказывалась на самочувствии семьи.

БЛАГОДАТНАЯ МАРА

Детство Евгения Баратынского без преувеличения можно назвать счастливым. Он рос в дружном семейном кругу, был окружен всеобщим вниманием. Ничто не омрачало жизненное утро будущего поэта. Маленький «Бубинька», «Бубуша» или «Бубочка», как ласково его называли родители и многочисленные родственники, был тихим, задумчивым мальчиком, живо впитывавшим впечатления неспешного деревенского житья, чутко откликавшимся на доброту и заботу. «Это такой ребенок, — восклицал гордый отец, — что я в жизни моей не видывал такого добронравного

---

[1] До недавнего времени общепринятой датой, которую можно встретить во всех справочниках, считалось 19 февраля. Несколько лет назад краевед В. Шпильчин обнаружил в Государственном архиве Тамбовской области метрическую книгу Покровской церкви села Вяжля Кирсановского уезда, где находится следующая запись, сделанная священником Ларионом Федотовым: «У князя Аврама Андреева Баратынского сын Евгений родился 7 марта, крещен 8 марта. Восприемник помещик Иван Егоров». Ныне эта дата принята биографами.

и хорошего дитя... Бубинька 2 года не только розги, но ниже выговору не заслужил: редкий ребенок!» Любопытно, что позже, поздравляя Баратынских с рождением третьего сына, Мария Андреевна Панчулидзева, тетка поэта, которой в восемнадцать лет он посвятил стихотворение «Женщине пожилой, но все еще прекрасной», пожелала, чтобы тот «был так же хорош, как мой милый Бубинька».

Имение родителей располагалось в живописной местности. Березы, липы, яблоневые и вишневые сады... Хотя Кирсановский уезд, на территории которого находилось оно, был не богат лесами, вокруг Мары, как свидетельствовал позже поэт в стихотворениях «Родина» (1821) и «Стансы» (1827), среди «родных степей» то тут, то там виднелись «дубравы мирные», «лес на покате двух холмов», дом был окружен «садовой чащей». Евгений с детства впитал горячую любовь к родному краю, часто потом приезжал сюда, нередко в тревожные минуты жизни возвращался мысленно к милым местам, к священному для сердца крову и навсегда сберег в душе свою «начальную любовь» к тихой и приветливой тамбовской природе. «Я не знавал человека, более привязанного к месту своего рождения, — вспоминал поэт Н. М. Коншин, с которым Баратынский служил в Финляндии, — он, как швейцарец, просто одержим был этой, почти неизвестной у нас болезнью, которую французы называют тоской по родине».

Дом, где жили Баратынские, был выстроен на высоком скате оврага, спускающегося к реке. В заросшем лесом овраге Абрам Андреевич устроил романтический сад с прудами, каскадами, каменным гротом, беседками, мостиками, искусно проведенными дорожками. Осенью 1833 года Евгений жил в Маре — много изменилось с детских лет. Воспоминания о прошлом, об отце и впечатления от родного дома и любезных издавна видов, замерших «в осенней наготе», сплелись в удивительно искреннем, безыскусном стихотворении «Запустение» (1834):

Душой задумчивый, медлительно я шел
С годов младенческих знакомыми тропами;
Художник опытный их некогда провел.
Увы, рука его изглажена годами!

Прочитайте внимательно этот грустный рассказ о былом — он непривычно для поэта-философа конкретен биографически и географически и дает реальную возможность ощутить красоту этого некогда цветущего места: «Еще прекрасен ты, заглохший Элизей, И обаянием могучим Исполнен для души моей».

Евгений первоначально получил домашнее образование. С самого детства с ним занимались отец и мать. 15 июня 1805 года Абрам Андреевич в письме к своему отцу в Подвойское сообщает: «Бубинька уже выучился грамоте и теперь пишет. У него, благодаря бога, понятие очень хорошее, и мы, игравши с ним, его учим». И в том же письме: «Мы выписали учителя, которого мы ждем из Петербурга». Мальчик развивался быстро, выказывая немалые способности. Когда осенью 1806 года родители Баратынского уезжали в Москву, оставив сына на попечение дяди, Богдан Андреевич извещал их, что «Бубинька ведет себя очень хорошо и учится весьма успешно». За то, по его мнению, следует быть признательным в первую очередь тому самому учителю, что выписан из Петербурга.

Об этом человеке стоит сказать подробнее. Джьячинто Боргезе, итальянец, бывший торговец картинами, приехал, как это делали многие европейцы, в Россию, чтобы попытать счастья и поправить свои дела. Видимо, его торговля оказалась неудачной, и он, опять же по примеру многих иностранцев, попавших в русские пределы, поступил в учителя. Но в отличие от своих случайных коллег, вроде Адам Адамыча Вральмана из фонвизинского «Недоросля» или француза Бопре, выписанного «вместе с годовым запасом вина и прованского масла», из «Капитанской дочки» Пушкина, Боргезе был человеком образованным и прекрасным воспитателем.

Евгений питал к нему нежную привязанность, которую сохранил на всю жизнь. Впечатлительный мальчик так зримо воспринимал живописные рассказы учителя об удивительной Италии, о которой тот всегда тосковал и мог говорить без устали, что с детских лет мечтал сам увидеть эту сказочную солнечную страну. Много позже, в 1843 году, перед самым отъездом в лучезарную отчизну своего учителя, к которому так долго пришлось готовиться, Баратынский, по

свидетельству очевидцев, едва ли не экспромтом воскликнул:

> Небо Италии, небо Торквата,
> Прах поэтический Древнего Рима,
> Родина неги, славой богата,
> Будешь ли некогда мною ты зрима?
> Рвется душа, нетерпеньем объята,
> К гордым остаткам падшего Рима!
> Снятся мне долы, леса благовонны,
> Снятся упадших чертогов колонны!

Как будто сама, подобно вздоху, в стихах этих высказалась давняя, потаенная мечта, какое-то видение, видимо, зародившееся в душе еще в далеком детстве под звуки восторженных рассказов Боргезе.

Подплывая к берегам Италии, а возможно, уже ступив на ее землю, Баратынский не мог не думать о далеком друге. Удивительны загадки человеческой судьбы! Поразительно светлое, идущее из сердца поэта стихотворение «Дядьке-итальянцу» (1844) стало последним созданием Баратынского, написанным незадолго до смерти. В нем он отчетливо вспоминает свое детство, все его события до мельчайших подробностей, «вотчину степную» — Мару, поездку в Москву. Боргезе жил в тамбовском имении Баратынских, по-видимому, до конца 1820-х годов: «Друг другу не были мы чужды двадцать лет»; стал совершенно своим человеком в доме — поэт именует его «участник наших слез и праздников семейных». Возможно, здесь и скончался: за редким исключением биографы Баратынского не дают про то никаких сведений, а вот сам он, вспоминая с думой о «дядьке-итальянце» отчий дом, прямо говорит, что тот здесь «мирный кров обрел, а позже гроб спокойный».

Стихотворение это, как и ранее упомянутое «Запустение», — редчайший для философско-обобщенного творчества Баратынского пример раскрытия в поэтическом слове конкретных жизненных событий, его породивших. Возможно, сегодня читать его несколько трудно: довольно непривычный, тяжеловатый стих, множество архаичных оборотов. Но не пропустите его — вчитайтесь повнимательнее! Оно отплатит сторицей узнаванием непосредственных дум и чувств поэта. Немного у него было радостей в жизни: память

о детстве и друге детства среди них. Залог тому — неизбывная любовь к «приюту младенческих годов» и чистое признание семнадцатилетнего юноши, написавшего своему воспитателю: «...Оставьте, пожалуйста, эти отвратительные титулы нижайшего слуги: нет ничего, что бы я так ненавидел, как эту нелепую вежливость. Я хочу названия друга: с этим названием мы расстались. До свидания, мой старый друг, будьте здоровы...»

Но вернемся к первым урокам. В 5 лет Евгений научился читать и писать. Сохранилось несколько писем — два на русском и три на французском языке, — в которых шестилетний автор довольно бойко (как говорит, так и пишет) сообщает уехавшим в Москву родителям обо всех домашних делах: «Милая мая маминька и папинка. желаю вам всякаго здаровья и благополучия навсегда. мы очень бы желали вас скарее видить. а без вас нам скушна; паприказанию вашему уведомляю вас мы точно так же играем как привас играли. Сошичка ашичка вавычка и фечка мы все здоровы, изаочно цалуем вас нашы милой: впрочем навсегда пребудем послушными: остаюсь покорный и послушным ваш сын евгении боратынской». Письмо написано четким, каллиграфическим почерком.

В одном из французских писем мальчик заявляет, что письмо и чтение сделались для него развлечением. Особенно это касалось занятий французским языком, что, впрочем, было нередким явлением в дворянских семьях, где дети очень рано знакомились с французской речью и литературой и подчас говорили и писали на родном языке гораздо хуже. Увы, пример в этом им подавали взрослые. Мода на все французское до Отечественной войны 1812 года, когда патриотические чувства захлестнули Россию, распространялась как болезнь: книжки читались французские, актеры гастролировали французские, даже повара предпочитались французские. Впрочем, в семье Баратынских, а в провинции национальные обычаи и традиции держались крепче, было все проще, и Евгений даже выступал часто в роли переводчика в разговорах родственников с двумя гувернерами-французами, жившими в доме.

Естественно, что в сельской глуши будущий поэт не мог получить настоящего образования, и в 1808

году Баратынские переезжают в Москву, чтобы устроить старшего сына в какое-либо учебное заведение. Возможно, Абрам Андреевич надеялся также, что после смерти Павла I отношение в верхах переменится к нему. Но и в царствование Александра I его положение осталось прежним.

Московская жизнь Баратынских была непродолжительной и закончилась печально: 24 марта 1810 года Абрам Андреевич скоропостижно скончался. Все семейные тяготы легли на плечи Александры Федоровны, оставшейся с семью маленькими детьми. Она героически встретила испытания, все силы, всю энергию отдавая детям. В результате ее хлопот по высочайшему указу 7 сентября того же года Евгений зачислен в Пажеский корпус, бывший в то время самым привилегированным военно-учебным заведением России.

В начале 1811 года Баратынские, оставив, как напишет позднее поэт в стихотворении «Дядьке-итальянцу», в Москве «могилу дорогую», вернулись в Мару. Александра Федоровна после смерти мужа как-то особенно сильно и даже болезненно привязалась к старшему сыну. И Евгений видел в матери не только наставницу, но и нежного и верного друга, который может все понять и во всем принять горячее участие. Эта взаимная привязанность сохранялась всю его жизнь — Александра Федоровна пережила сына на 8 лет. Весною 1812 года подросток был отвезен в Петербург и отдан в частный немецкий пансион для подготовки к поступлению в Пажеский корпус. Детство кончилось. Начиналась новая жизнь, неизведанная.

НЕУДАВШИЙСЯ ПАЖ

Эта жизнь ничем не походила на прежнюю — Евгений оказался в непривычных условиях, в непривычном окружении. Поначалу многое привлекало его: после тамбовской глуши [1] блестящий Петербург удивлял

[1] И губернский Тамбов, и уездный Кирсанов в начале XIX века были по-провинциальному невелики: там проживало соответственно двенадцать и шесть с половиной тысяч жителей. Для сравнения — в волостном селе Вяжля, частью которого являлась Мара, где обитали Баратынские, насчитывалось около семи тысяч, т. е. больше, чем в уездном городе. В современном Тамбове — примерно триста тысяч человек.

и ослеплял, но очень скоро этот блеск начал тускнеть, а юная память все чаще оживляла картины счастливой домашней жизни. Вот первое письмо мальчика домой вскоре после поступления в пансион: «Нева теперь вся очистилась от льдин, сколько парусных лодок и кораблей! Но вместе с тем, маменька, без вас мне все кажется неладным. Когда я уезжал, я еще не чувствовал всей тягости нашей разлуки, я не знал ее; но теперь, маменька, какая разница! Петербург поразил меня своею красотою, все мне казалось счастливым, но здесь со всеми были матери. Я думал, что с товарищами мне будет весело: но нет, всякий играет с другим, как с игрушкой, без дружбы, безо всего! Какая разница, когда мы были с вами! Последние дни, хотя мне было грустно, я все же чувствовал удовольствие быть еще с вами, и — сказать вам откровенно — я думал, уезжая, что мне будет гораздо веселее с мальчиками моих лет... но увы, я очень ошибся! Я думал найти дружбу, а нашел лишь холодную притворную учтивость, расчетливую дружбу: пока у меня было яблоко или что другое, все были моими друзьями, но потом все было опять потеряно...»

В другом письме, написанном в августе 1812 года, через три месяца после начала учебы в пансионе, Евгений, передавая нежные приветы родным и домашним, в том числе и «дядьке-итальянцу», описывает свои занятия: «В географии теперь я скоро Европу кончу, а после каникулов начну Азию. Я все хорошо отвечал на те земли, которые я учил, и начал продолжение того, что я учил у вас, но как у нас очень сокращенно, то в 3 месяца я успел окончить. Мы синтаксис учим наизусть, а что касается до подробностей, то мы их читаем. В истории я начал с пунических войн, а по-немецки я могу кое-что переводить и начинаю говорить немного. По-французски я делаю переводы и сочинения на какой-либо предмет, так же как и по-русски, рисую же я головки, и я стану рисовать в каникулы что-нибудь и вам пошлю, а в каникулы стану я учить геометрию и на скрыпке...»

Скучая по дому, разочаровываясь в сверстниках, будущий поэт начинает сторониться их, замыкается в себе. Он увлекается математикой и рисованием, много читает, особенно французскую классику XVII и XVIII веков, оказавшую значительное влияние на

его умонастроение. Юному Баратынскому, склонному к мечтательности и раздумьям, обладающему тонким и глубоким умом, философские разборы Вольтера и энциклопедистов, рассудительность французских писателей оказались внутренне близки. В их произведениях искал и находил он ответы на многие вопросы, мучавшие его: о законах природы, о смысле жизни, о судьбе человека, о счастье и истине. Именно они, пожалуй, начали формировать культуру мышления будущего поэта. И, естественно, все это отразилось и в письмах мальчика, порой не по-детски рассудочных и рассудительных, и — позже — в ранних стихах.

Детская увлеченность рисованием также не случайна. Сохранилось довольно карандашных и акварельных рисунков поэта, чтобы судить о его изобразительных способностях. Это и пейзажные наброски — особенно много видов Финляндии, где в начале 20-х годов Баратынский служил в Нейшлотском пехотном полку, и «головки», подобные тем, что набрасывал он в пансионе, и рисунки к собственным и чужим стихам, и исполненные стремительными штрихами автопортреты и профиль матери, и даже чертежи задуманного и построенного по проекту Баратынского дома в усадьбе Мураново, где поэт прожил с семьей многие годы. Все это исполнено умело, живо и свидетельствует о несомненном художественном таланте.

Кстати, для русской литературы прошлого столетия подобное сочетание талантов — явление далеко не единичное. Хорошо известны острохарактерные, стремительные рисунки Пушкина — их так много, они столь интересны и сами по себе и для понимания творчества писателя, что совершенно естественным воспринимается создание известным пушкинистом Т. Г. Цявловской специальной книги «Рисунки Пушкина», которая издавалась уже трижды. А прекрасные пейзажи, портреты и жанровые композиции Лермонтова? В его карандашных набросках и акварельных картинах, полотнах, писанных маслом, видна уверенность мастера, свободно владеющего карандашом и кистью. Богато живописное наследие крупного поэта-романтика Жуковского, профессиональным художником был Тарас Шевченко, интересны рисунки Гоголя и Достоевского. Воистину многолик талант русских писателей!..

Чтение французских классиков и поэтов нового времени, пробудившаяся тяга к собственному творчеству (сохранилось небольшое стихотворное послание к матери, написанное по-французски во время пребывания в пансионе), увлечение математикой и рисованием сказались на подготовке юного Баратынского. Из-за плохого знания немецкого языка, мало распространенного в русском обществе, но необходимого для поступления в Пажеский корпус, Евгений смог попасть лишь в 4-й класс, хотя по другим предметам он удовлетворял требованиям старшего класса. В декабре 1812 года будущий поэт был принят в корпус «пансионером на своем содержании», еще не догадываясь, что уготовано ему судьбой.

Первый год пребывания в корпусе прошел для юного пажа весьма успешно. Правда, в своем классе он оказался на два-три года старше других воспитанников, да и подготовлен был лучше, но на начальном этапе это еще не очень сказывалось на его поведении, а скорее помогало учебе. «Меня экзаменовали и поместили в 4-й класс, — пишет Евгений матери через два месяца после поступления в корпус, — в отделение г-на Василия Осиповича Кристофовича. Ах, маменька, какой это добрый офицер, притом же он знаком дядиньке. Лишь только я определился, позвал он меня к себе, рассказал все, что касается до корпуса, даже с какими из пажей могу я быть другом. Я к нему хожу всякий вечер с другими пажами, которые к нему ходят. Он только зовет к себе тех, которые хорошо себя ведут...»

Вряд ли стоит этот отзыв принимать за выражение горячей любви к воспитателю — тем более что, как известно, сразу после поступления у нового пажа было небольшое столкновение с Кристофовичем, за что он и был наказан тремя днями ареста. Скромный, старательный мальчик, привыкший к домашнему кругу родных и близких, конечно, искал поддержки, ободрения старших и старался заслужить их благосклонность. К кому же, как не к воспитателю, да еще и знакомому дяди, занимавшему высокий военный пост, ему обратиться? А тому, конечно, хотелось, чтобы новый воспитанник с первых же дней был под полным контролем.

Как бы там ни было, Евгений довольно быстро

свыкся с новой жизнью. «Встаем мы в 5 часов, — пишет он Александре Федоровне в том же письме, — в 1/2 6-го на молитву до 6-ти, потом к чаю до 1/2 7-го, в классы в 7 до одиннадцати, в 12 обедать, а потом в классы от 2-х до 4-х, в 7 часов и в 8 часов ложимся спать...» Внешне учебная программа подготовки пажей была довольно разнообразной и включала множество предметов, в том числе иностранные языки и литературу. «Географию начал я сызнова, — сообщает Евгений матери, — перевожу с французского на русский и с русского на французский и с немецкого на русский. Российскую историю также теперь учу и прошел три периода, а учу 4-ое царствование великого князя Юрия 2-го Всеволодовича, также начал я геометрию».

Программа предусматривала знакомство с творчеством писателей французского классицизма — Корнеля, Расина, с теорией словесности, т. е. «правилами прозы и поэзии», причем, как свидетельствует Д. М. Левшин, автор книги «Пажеский Его Императорского Величества корпус за сто лет», «в правилах поэзии, кроме механизма русских стихов, предлагаются краткие замечания на все роды поэзии». Наряду со сведениями о русских писателях Ломоносове, Державине, Хемницере, Петрове, Фонвизине, Муравьеве, Карамзине, Озерове, Крылове, Дмитриеве пажам давалось понятие и «о сочинителях древних, оставивших совершеннейшие образцы в каком-нибудь роде, с тою разницею, что об отечественных говорится подробнее».

Успехами в учебе и примерным поведением, которое, как и было обещано «многолюбящим» сыном матери, стало «исправнее», мальчик заслужил расположение воспитателя, вписавшего 1 марта 1813 года в ежемесячный кондуитный список следующую характеристику: «Баратынский — 13 лет, вступил в корпус 1812 года, поведения хорошего, нрава хорошего, опрятен, штрафован не был, греческого закона, 4-го класса». В том же 1813 году Евгений блестяще выдержал переходный экзамен и был определен в следующий — 3-й класс. Довольно им и высокое начальство. Сохранился текст аттестата, выданного главноуправляющим корпусом генерал-лейтенантом Ф. М. Клингером: «Свидетельство. Дано сие от

Пажеского Его Императорского Величества Корпуса Пажу Евгению Баратынскому в том, что он по Экзамену сего 1813-го года за успехи в науках и добронравие удостоился получить награждение определенное для четвертого класса и в книгу назначенную для записания таковых отличившихся гг Камерпажей и Пажей под № 7-м записан сего Октября 18 дня 1813-го года. Клингер». Характерны и строки из письма в Мару тетки Евгения М. А. Панчулидзевой: «Бубуша в корпусе уже в другой раз; это место ему лучше всех нравится».

Кажется, жизнь мальчика наладилась: горечь разлуки с домом поутихла, учение идет успешно, впереди прекрасные перспективы. Но это лишь видимость благополучия — корпусная действительность не столь радужна, юная душа тревожится и страдает. И тому есть веские причины. Внешний блеск Пажеского корпуса, который император Александр I считал чуть ли не своей собственной школой, плохо соответствовал его внутреннему устройству. Директор корпуса Клингер, возглавивший одновременно и I Кадетский корпус, по отзывам воспитанников, был человеком угрюмым в обращении, скупым на слова, неумолимо строгим, желчным, сухим, «снисхождение и ласковое обращение с питомцами были чужды его сердцу: дети боялись его». По его распоряжению в корпусе практиковались телесные наказания даже за весьма небольшие проступки, после которых виновник должен был еще и благодарить начальство. Естественно, что наказания розгами оскорбляли самолюбие учеников, бывших детьми генералов и высших сановников, и создавали непримиримые отношения между пажами и воспитателями. Учителя и наставники были людьми педагогически неподготовленными и порой малообразованными. Они не имели ни времени, ни желания заниматься воспитанием подопечных и ограничивались «внешним соблюдением форм и приемов», довольствуясь «безотчетным послушанием страха ради».

Любопытные воспоминания оставил воспитанник корпуса, декабрист А. С. Гангеблов — они ярко характеризуют уклад жизни пажей, нравы корпусной реальности, которые повсюду, как писал позже Пушкин в записке «О народном воспитании», «находятся в самом гнусном запущении». Вот как говорит

Гангеблов о формальном и бездушном отношении учителей к воспитанникам: «Никогда они не заводили интимных с воспитанниками бесед о том, что ожидает их вне школы; не интересовались направлением их наклонностей, не заглядывали в те книги, которые видели в их руках; да если б и заглянули в которую либо из них, то едва бы сумели определить, насколько содержание ее полезно и вредно. К тому же, как скоро, в 10 часов вечера, дежурный наставник «обошел рундом» дортуары, то считал свое дело законченным и преспокойно отправлялся к себе на квартиру, вне главного здания корпуса». Все это, конечно, имело отрицательное воздействие на атмосферу корпусной жизни.

Неудовлетворительно велось и обучение. Как свидетельствует Гангеблов, «ни один из учителей не умел представить свою науку в достойном ее виде и внушить к ней любовь и уважение. Метод изучения заключался в тупом долблении наизусть; о каком-либо приложении к практике и намеку не было; а потому, за весьма малыми исключениями, все учились не для того, чтобы что-нибудь знать, а для того только, чтобы выйти в офицеры». По словам Баратынского, нередко из корпуса выпускались пажи, не знавшие даже четырех правил арифметики.

Были и другие причины плохого преподавания и воспитания. Пажеский корпус помещался в великолепном дворце, когда-то принадлежавшем графу М. И. Воронцову. По своему убранству он носил следы роскошного жилища богатого вельможи XVIII века, а по внутреннему устройству мало подходил для учебного заведения. Классы были слишком большими, но не нашлось места для библиотеки и читального зала. Вредно отражалось на преподавании и классовое различие между пажами и их преподавателями, не принадлежавшими к известным дворянским родам. В результате влияние воспитателей было ничтожным, с ними практически не считались. Вот пример подобных отношений, рассказанный Гангебловым. Своими шалостями и невниманием к урокам ученики довели учителя французского языка до такой крайности, что он вынужден был заключить с ними договор, по которому надо «в два его утренних урока в неделю *учиться,* а в третий, послеобеденный — *веселиться,*

для чего и назвать этот класс «вечеринкой». Кроме того, многие преподаватели, в том числе и воспитатель Баратынского Кристофович, были слишком большими любителями спиртного, чтобы внимательно относиться к своим обязанностям.

Такое положение во внутренней жизни корпуса как раз и приводило пажей к многочисленным нарушениям распорядка, шалостям, а порою и более серьезным проступкам. Отрицательно действовала эта обстановка и на Баратынского. Попав в военное учебное заведение со строгими порядками, равнодушными воспитателями, лишившись всего дорогого, что с детских лет окружало его, находясь на жизненном перепутье, когда мальчик превращается в юношу и ему необходимо на кого-то опереться, с кем-то посоветоваться, Евгений потерял сами основы привычной жизни, лишился стойких нравственных ориентиров.

В 1823 году из Финляндии он написал В. А. Жуковскому, прекрасному поэту и другу поэтов, вечному ходатаю по делам друзей и знакомых, помощнику многих, своему «Гению-покровителю», письмо, в котором собрал воедино впечатления от корпуса и попытался объяснить причины своего поведения в те годы. Это честное признание честного человека точно объясняет причины его детского проступка — кражи ради забавы вместе с другими пажами у одного вельможи золотой табакерки и денег, проступка, сильно повлиявшего на дальнейшую жизнь. «Начальником моего отделения был тогда некто Кристофович... — писал Баратынский, — человек во всем ограниченный, кроме в страсти своей к вину. Он не полюбил меня с первого взгляда и с первого дня вступления моего в корпус уже обращался со мной как с записным шалуном. Ласковый с другими детьми, он был особенно груб со мною. Несправедливость его меня ожесточила: дети самолюбивы не менее взрослых, обиженное самолюбие требует мщения... Первая моя шалость не сделала меня шалуном в самом деле, но я уже был негодяем в мнениях моих начальников. Я получал от них беспрестанные и часто несправедливые оскорбления; вместо того чтобы дать мне все способы снова приобрести их доброе расположение, они непреклонною своей суровостию отняли у меня надежду и желание когда-

нибудь их умилостивить... Что скажу вам? Я теперь еще живо помню ту минуту, когда, расхаживая взад и вперед по нашей рекреационной зале, я сказал сам себе: буду же я шалуном в самом деле! Мысль не смотреть ни на что, свергнуть с себя всякое принуждение меня восхитила; радостное чувство свободы волновало мою душу, мне казалось, что я приобрел новое существование».

Что ж, психологическое состояние подростка обрисовано верно — от чувства обиды, непонимания, неуважения и неверия в него и произросло намерение, приведшее к проступку. Попытки Евгения исправить мнение о себе показательны — вспомним и отзыв воспитателя 1 марта 1813 года, и свидетельство, выданное директором корпуса. Но этот успех был, увы, непродолжителен. В 1814 году Баратынский провалился на переходном экзамене и остался в 3-м классе. Ему очень стыдно перед матерью, перед семьей, и он обещает исправиться, но уже 1 октября 1814 года новый начальник отделения характеризует его как «поведения и нрава дурного», а 1 ноября другой начальник аттестует мальчика «бывшим под штрафом». Получив заочное прощение матери, мальчик вновь пытается, дабы не огорчать ее, вернуть расположение воспитателей. В марте 1815 года его аттестуют «примерным по поведению и нраву», но уже с осени отзывы становятся все хуже, что и продолжается вплоть до катастрофы, случившейся в феврале 1816 года.

Необходимо заметить, что именно в эти столь несчастливые для него годы будущий поэт живет напряженной духовной жизнью. Недостаток человеческого тепла, понимания, общения он компенсирует активным чтением, серьезной работой мысли, раздумьями о своем призвании и жизненном назначении. Неудача на экзамене огорчает его, но главным представляется другое. «Сейчас я занимаюсь в минуты отдыха, — сообщает он матери, — переводом и сочинением маленьких историй, и, сказать вам правду, *я больше всего люблю поэзию*. Я очень бы хотел быть автором. Следующий раз я вам пришлю нечто вроде маленького романа, который я кончаю. Я очень желал бы знать, что вы о нем скажете. Если вам покажется, что у меня есть кое-какой талант, я буду

изучать правила, чтобы совершенствоваться в этом».

Юный автор, однако, очень строг к себе — эта строгость всегда будет одной из важнейших черт его поэтического мышления, в чем мы еще не раз убедимся. Похоже, что он весьма критически и всесторонне оценивает свои возможности. В одном из писем матери прямо-таки с недетской зрелостью Евгений размышляет об этом: «Вы говорите, что вы очень довольны моею склонностью к умственным занятиям; но признайтесь, что нет ничего смешнее молодого человека, который выставляется педантом, считает себя автором, потому что перевел две-три странички Эстеллы Флориана, в которых до тридцати орфографических ошибок и напыщенный слог, который он почитает живописным, и убежден в том, что он вправе критиковать все, не будучи еще в состоянии оценивать те красоты, которыми он восхищается, и проникаться ими; потому только, что другие восторгаются ими, он превозносит их с упоением, между тем как он даже никогда не читал их. В самом деле, милая маменька, во мне есть этот недостаток, и я стараюсь от него отделаться. Я часто восхвалял Илиаду, хотя читал ее в Москве и в таком раннем возрасте, когда не мог не только быть проникнутым ее красотами, но даже понимать ее содержания. Я слышу, что ею везде восхищаются, и расхваливаю ее, как обезьяна. Я знаю людей, которые не дают себе труда мыслить и предоставляют общественному мнению установить их убеждение, и эти люди, не исключая и моего благородия, очень похожи на автоматов...». От этих размышлений потянутся нити к суждениям взрослого Баратынского — об авторской скромности, о самостоятельности мнений, о презрении к подражателям в жизни и в поэзии. Запомним их.

Много думает Евгений о своем будущем, о настоящем. Конечно, в его мыслях немало книжного, вычитанного у Вольтера и других философов — ведь он еще только учится размышлять, еще только ищет форму для своих дум. Но в словах его вовсю чувствуется биение беспокойной и взыскательной собственной мысли, которая станет отличительной чертой поэзии Баратынского и создаст ему в кругу друзей и во мнении читателей репутацию оригинального мыслителя, обладающего, по выражению

И. В. Киреевского, «умом светлым и вместе с тем тонким, так сказать, до микроскопической проницательности, и особенно внимательным к предметам возвышенным и поэтическим, к вопросам глубокомысленным, к движениям внутренней жизни...».

Пребывание в корпусе представляется мальчику скучным, ограниченным времяпровождением, лишенным примет истинной многообразной жизни. Не случайны в эти годы его неоднократные просьбы к матери о переводе в морскую службу. Да, она полна опасностей и неизвестности, но это прекрасно! «Представьте себе, милая маменька, грозную бурю и меня, стоящего на палубе, как бы повелевающего разъяренному морю, доску между мною и смертью, морских чудовищ, дивящихся чудесному орудию, — произведению человеческого гения, повелевающего стихиями». Он умоляет мать не противиться его наклонности, так как должен быть там, где свершается настоящая жизнь: «Я не могу служить в гвардии: ее слишком берегут. Во время войны она ничего не делает и остается в постыдном бездействии». Как видим, не только детская восторженность и романтичность заставляют мечтать юного пажа об освобождении от корпусной рутины, ему противна сама мысль о бездействии и роли стороннего наблюдателя.

Но что особенно важно — суждения подросток обосновывает философски, смотря на свое положение с позиции жизненного назначения человека. «И вы называете это жизнью? — восклицает он в письме к матери. — Нет, беспрерывный покой не может называться жизнью. Верьте мне, милая маменька, можно привыкнуть ко всему, кроме бездействия и скуки. Я бы даже предпочел в полном смысле несчастие — невозмутимому покою. По крайней мере живое и глубокое чувство захватило бы мою душу, по крайней мере сознание моих бедствий удостоверяло бы меня в том, что я существую». Не только юношеский максимализм, думается, водил пером Баратынского, писавшего эти слова. Здесь уже проявилась его жизненная позиция, его мнение о способе существования человека в мире. Конечно, в дальнейшем эти мысли приобретут стройность и отчетливость, обогатятся жизненным опытом, оформятся в убедительные,

поэтически выверенные слова, но от этого не изменится их сердечная выстраданность, их глубинно личностный смысл. В 1840 году Баратынский напишет принципиальное для своего творчества стихотворение «Мудрецу», вошедшее в сборник «Сумерки». Сравните его с приведенным отрывком из письма к матери и вы почувствуете, как родственны величавые гекзаметры зрелого поэта давним юношеским помыслам:

Тщетно меж бурною жизнью и хладною смертью, философ,
Хочешь ты пристань найти, имя даешь ей: покой.
Нам, из ничтожества вызванным творчества словом тревожным,
Жизнь для волненья дана: жизнь и волненье — одно.
Тот, кого миновали общие смуты, заботу
Сам вымышляет себе: лиру, палитру, резец;
Мира невежда, младенец, как будто закон его чуя,
Первым стенаньем качать нудит свою колыбель!

В этих стихах — жизненная программа человека, поэта. Истоки ее, мы видим, коренятся в детских беспокойных мыслях о своем положении, о назначении человека, о смысле жизни. И как много в них общего с беспокойством многих лучших сынов России, для которых «жизнь и волненье — одно»! Например, со строками двадцативосьмилетнего Александра Блока из цикла «На поле Куликовом»: «И вечный бой! Покой нам только снится... Плачь, сердце, плачь. Покоя нет!.. Не может сердце жить покоем...» Словно отозвались в стихах поэта XX века думы подростка начала XIX столетия, думы поэта, вызревавшего в холоде казенного военного училища.

Баратынский был одинок в своих поэтических устремлениях, без друзей, без духовных единомышленников. Он на свой страх и риск входил в неизведанный мир поэзии — без провожатых, без поддержки. Он не имел того, что было у Пушкина в Лицее — умных и образованных преподавателей, Дельвига, Кюхельбекера, Пущина, той духовной атмосферы дружбы и поэзии, которая окружала лицеистов. Лицей был для зрелого Пушкина идеальным царством дружбы, а лицейские друзья — идеальной аудиторией для его поэзии. Пушкин именно в Лицее почувствовал себя поэтом и мог позже сказать, что начал «писать

с 13-летнего возраста и печататься почти с того же времени». Уже в Лицее Дельвиг писал: «Пушкин! Он и в лесах не укроется; Лира выдаст его громким пением...» Для Баратынского все это было недостижимой мечтой. Мальчик, почуявший в себе поэтический дар, вынужден был таиться ото всех, лишь изредка прорывались его устремления в письмах к матери. Было от чего страдать, было от чего решиться «свергнуть с себя всякое принуждение»!

К тому же в это время Баратынский, подобно своим сверстникам, увлекся, как он признавался в уже известном нам письме к Жуковскому, чтением популярных романов о «Глориозо, Ринальдо Ринальдини, разбойниках во всех возможных лесах и подземельях»: эти книги, «и в особенности Шиллеров Карл Моор, разгорячили мое воображение; разбойничья жизнь казалась для меня завиднейшею в свете, и, природно-беспокойный и предприимчивый, я задумал составить общество мстителей, имеющее целию сколько возможно мучить наших начальников». Точность этого признания не вызывает сомнений — ведь именно в романе о Ринальдо Ринальдини герой прославляется за бунт против своих начальников и бегство от ига военной жизни, а в повествовании о Глориозо приводятся заманчивые изображения краж.

Основные проделки «Общества мстителей» не выходили за рамки обычных шалостей, распространенных в подобных учебных заведениях, однако одна из них оказалась действительно серьезным проступком, который и послужил причиной изгнания Баратынского из корпуса. О случившемся было доложено императору, и он, уверенный, что пажи, совершившие кражу, закоренелые преступники, повелел исключить их из корпуса и отдать родственникам, с тем чтобы «они не были принимаемы ни в гражданскую, ни в военную службу, разве захотят заслужить свои проступки и попросятся в солдаты, в таком случае дозволяется принять в военную службу». Вскоре по разным департаментам был разослан специальный циркуляр, предписывающий неуклонное соблюдение высочайшего повеления, и в жизни Баратынского началась едва ли не самая трудная пора. Во всяком случае ближайшие три-четыре года навсегда оставят в его сердце неизгладимый рубец.

ОТВЕРЖЕННЫЙ

Сегодня нам, пожалуй, непросто понять истинный смысл такого наказания. На первый взгляд, оно может показаться не особенно строгим. Ведь не были же ни на гражданской, ни на военной службе многие дворяне, жившие в своих имениях и поместьях и занимавшиеся хозяйством. Среди них встречались люди культурные и образованные, окончившие университет или иное учебное заведение, но не пожелавшие стать винтиками колоссальной бюрократической машины, управляющей огромной империей. Не случайно в глазах передовой части русского общества тех лет частная, независимая жизнь воспринималась нередко как проявление оппозиционных настроений, как вызов официальной государственности.

Характерно, что в поэзии сентиментализма и особенно романтизма, освобождавших русскую литературу начала XIX века от канонов классицизма с его идеей государственного служения и общественного долга, утвердился идеал естественного, не регламентированного внешними нормами существования, которое предполагало отказ от всего общепринятого и общепризнанного. В стихах Карамзина, Жуковского, молодого Пушкина, Рылеева и других поэтов простая деревенская «хижина» противопоставляется богатому «дворцу», «венок» из полевых цветов оказывается желаннее царственного «венца». Особенно яркое, можно сказать, программное выражение эти настроения получили в знаменитом стихотворном послании Батюшкова «Мои пенаты» (1811—1812), прославляющем тихую, уединенную жизнь вдали от суеты света и «придворных уз». Именно такую жизнь, выслужив официальное прощение, будет позже вести и сам Баратынский.

Но может ли он позволить это себе сейчас? Посмотрим на дело с другой стороны. По законам того времени, введенным еще Петром, каждый дворянин рассматривался как потенциальный слуга отечества. В царствование Елизаветы, например, дворянские недоросли трижды — 7, 12 и 16 лет — обязаны были являться на специальные «смотры» в герольдию для проверки уровня их развития. От родителей строго требовали обучать детей чтению и счету. Всех не-

грамотных, но достигших предельного возраста Елизавета повелела посылать в Оренбург на безвыездное проживание. Государственная служба, гражданская или военная, продвижение по иерархической лестнице табели о рангах давали человеку определенное общественное положение. Неслужащий без особых причин дворянин находился на подозрении у правительства. Так что запрещение Баратынскому служить рассматривалось как недоверие ему со стороны властей, как своего рода отказ в гражданских правах.

Именно так воспринимали монаршье наказание окружающие и сам юноша. И самое страшное заключалось в том, что за проступок мальчика долгие годы расплачивался взрослый человек. «Корпусное молодечество и воображение, испорченное дурным чтением», отсутствие «просвещенных и внимательных наставников» — вот, по определению самого Баратынского в письме к Жуковскому, истинные причины его «негодного поведения», того «минутного нравственного омрачения», суровые последствия которого сказывались столь продолжительно. Сам детский проступок с годами все далее уходил в прошлое, а наказание, напротив, сказывалось все сильнее, становилось более жестоким.

Об этом думал Баратынский много лет спустя, говоря своему давнему знакомому П. Г. Кичееву: «... Видите ли, любезный Петр Григорьевич, куда повело наказание меня — можно сказать ребенка: я теперь только губернский секретарь... а если бы окончил курс учения в пажеском корпусе, то, полагаю, я принес бы более пользы своему отечеству». Об этом же он писал президенту Академии наук С. С. Уварову, прося «возвратить человеку имя и свободу; возвратить его обществу и семейству; отдать ему самобытность, без которой гибнет душевная деятельность; одним словом: воскресить мертвого». О том же поэт писал и Жуковскому, говоря, что его тяготит противоречие общественного положения: «Я не принадлежу ни к какому сословию, хотя имею какое-то звание. Ничьи надежды, ничьи наслаждения мне не приличны. Я должен ожидать в бездействии, по крайней мере душевном, перемены судьбы моей, ожидать, может быть, еще новые годы! Не смею подать в отставку, хотя, вступив в службу по собственной воле, должен бы

иметь право оставить ее, когда мне заблагорассудится; но такую решимость могут принять за своевольство. Мне остается одно раскаяние, что добровольно наложил на себя слишком тяжелые цепи. Должно сносить терпеливо заслуженное несчастье — не спорю; но оно превосходит мои силы, и я начинаю чувствовать, что продолжительность его не только убила мою душу, но даже ослабила разум».

Думается, Баратынского имел в виду Пушкин, когда в записке «О народном восстании», поданной в 1826 году Николаю I, говоря об исключении из военного училища как мере наказания, призывал отменить в этой ситуации «дальнейшее гонение по службе»: «наказывать юношу или взрослого человека за вину отрока есть дело ужасное и, к несчастию, слишком у нас обыкновенное».

Мы еще будем говорить о хлопотах по реабилитации Баратынского, а пока вернемся к событиям 1816 года, когда он был исключен из корпуса и отдан дяде, Богдану Андреевичу, который отвез мальчика в родовое смоленское имение Подвойское. Родные надеялись, что здесь, в тиши лесов, в спокойной домашней обстановке, Евгений оправится после случившегося, оттает душой, соберется с духом. Рассчитывали они поначалу и на скорое прощение неудавшегося пажа властями, на возможность, используя родственные и дружеские связи семьи в столице, облегчения его участи.

Но эти надежды осуществились лишь наполовину, да и то весьма не скоро.

Баратынский был очень удручен своим положением. Перед ним разверзлась бездна содеянного и его последствия, и он, как напишет позже, «сто раз готов бы лишить себя жизни». Более всего мальчик мучался от мысли, что причинил ужасную боль матери. «Поверьте, милая маменька, — говорит в письме в Мару «всепокорный и раскаивающийся сын», — что слезы ваши для меня более значат, чем все наказания». Тревожила Баратынского и мысль, что своим проступком он не только омрачил собственное будущее, но и бросил тень на фамилию, на семью. Переживания настолько подточили его физические и душевные силы, что осенью 1816 года юноша серьезно заболел нервическою горячкой, и

только неустанная забота родственников вернула его к жизни.

Поправившись, в начале следующего года Евгений поспешил навестить мать. От этой встречи он ждал многого и так описал свои ощущения Жуковскому: «Я ожидал укоров, но нашел одни слезы, бездну нежности, которая меня тем более трогала, чем я менее был ее достоин. В продолжении четырех лет никто не говорил с моим сердцем: оно сильно встрепетало при живом к нему воззвании; свет его разогнал призраки, омрачившие мое воображение...» Свидание с матерью укрепило душевные силы Баратынского. Не случайно в одном из писем той поры он, вновь открывший для себя радости жизни, красноречиво признается, что «удовольствие видеть себя любимым превосходит все удовольствия света!». Характерны в этом смысле и слова из письма юноши к дяде, П. А. Баратынскому: «Нет истинного счастья без добродетели, и если кто в сем не признается, то дух гордости ослепляет его, и я это хорошо знаю!» Общей оценкой ситуации могут служить строки из письма Александры Федоровны Б. А. Баратынскому от 1 марта 1817 года, в котором она сообщает о беспокойстве за судьбу Евгения, своим отменным поведением заставляющего желать, чтобы «он был порядочно пристроен в службе»: «Скажу вам, любезнейший братец, что я им чрезмерно довольна во всех отношениях и что с трудом понимаю, как мог он себя так потерять в Петербурге: мне это кажется ужасным сном».

Почти три года, проведенные Баратынским в Подвойском, Маре и в Москве у матери и родных, окончательно возродили его. Это было не только время нравственного оздоровления, но и большой внутренней работы ума и сердца. Юноша много читает — главным образом французскую и русскую классику (в Подвойском была хорошая библиотека, и он «всю ее перечитал»). Как и прежде, его любимцем остается Вольтер, увлечение которым сказывается в письмах к матери и родным. В них множество рассуждений о счастье и беспечности, о судьбе человека. Как и в ранних письмах из корпуса, здесь немало еще несамостоятельного по форме выражения, но уже совсем отчетливо заявлены те философские

темы поэзии Баратынского, которые станут стержнем его творчества. Более того, испытания, выпавшие на долю юноши, придают этим размышлениям глубоко личностный характер, снимают с них налет резонерства, безотносительности. «Страсть к умствованию, — признается будущий поэт матери, — не из меньших моих недостатков, и я не думаю от него исправиться...»

В эти годы Баратынский все более ощущает в себе и потребность в творчестве. Еще в 12 лет он по-французски написал первое стихотворение, обращенное к матери. В 17 — довольно неуклюжий в поэтическом отношении «Хор, петый в день именин дяденьки Богдана Андреевича Баратынского его маленькими племянницами Панчулидзевыми», где, помимо прочего, встречаются умозаключения об «истинном счастье» «в нас самих» и о времени, которое «невозвратно всех благ лишает нас». В Подвойском Евгений пишет и ставит для домашних развлечений собственные пьесы. Все это — подходы к большому творчеству, и интересны они нам сейчас как свидетельства долгого, напряженного, подспудного поиска своего жизненного призвания как проявления внутренней работы ума и сердца. Как поэт Баратынский родится по-настоящему через год-два — уже в Петербурге, где зерна его таланта попадут в благодатную литературную почву и прорастут так быстро и так сильно, что друзья и читающая публика заговорят о появлении в России нового поэта, зрелого, самобытного, небывалого.

Все это время родственники и знакомые неустанно хлопочут о прощении юноши. Однако напрасно: власти неумолимы. Одна надежда рушится за другой, и из-за вынужденного бездействия в Подвойском Баратынский страшно тоскует. Он переписывается со своими прежними приятелями по Пажескому корпусу (в первую очередь с Александром Креницыным, причастным впоследствии к движению декабристов), но, видимо, их письма из Петербурга, помимо прочего, тревожат душевные раны отверженного, напоминая о невозвратности того, что было. Наконец, становится ясно, что скорого прощения ждать нечего и для молодого человека остается один выход — отправиться в Петербург и поступить в солдаты, чтобы загладить проступок и восстановить свое положение в обществе, так как другого способа

выслужить офицерский чин, дающий свободу выбора, нет.

И вот осенью 1818 года Баратынский оставляет родные места и дорогих сердцу людей («... Мне кажется, — скажет он в письме к матери, — что, уезжая из Мары, я взял отпуск у дружбы и что, уезжая из Тамбова, я взял отпуск у любви») и вновь появляется в Петербурге, так сурово некогда принявшем его. Он, по собственному выражению, приехал «с мадригалом в кармане», чтобы начать военную службу в одном из полков, расквартированных в столице. Началась новая, не менее сложная и важная для будущего, страница жизни.

Но страница эта отныне уже не принадлежит семейному альбому одной из провинциальных русских фамилий, а будет вписываться в бессмертную книгу великой отечественной литературы.

СУДЬБОЙ НАЛОЖЕННЫЕ ЦЕПИ

СЕМЕЙСТВО ДОБРЫХ МУЗ

«Мадригал в кармане» — не случайная фраза, не метафора. Помните полудетское признание в письме к матери: «...Я больше всего люблю поэзию. Я очень бы хотел быть автором»? Любовь эта разгоралась с годами все жарче, а желание сочинять стихи начинало обжигать ум и сердце. Прибавьте к этому юношескую горячность, жажду людей, событий, томившую в провинциальной глуши и тиши, стремление утвердить себя, найти свою жизненную стезю, хоть как-то рассчитаться с судьбой за ранние испытания и горести — и вы почувствуете, что в молодом человеке, покидавшем тамбовские пенаты, вот-вот должен родиться поэт.

Давно уже Евгений нуждался в товарищеском ободрении и поддержке своих еще толком не осознанных и не высказанных мечтаний. Но теперь, осенью 1818 года, вдали от родного дома, в холодном и строгом Петербурге, в предощущении решительных жизненных перемен ему особенно, как воздух, необходимы дружеское участие и помощь. И он их нашел. В уже знакомом нам письме-исповеди Жуковскому о своей молодости Баратынский замечает, что познакомился здесь «с некоторыми из наших молодых стихотворцев, и они сообщили мне любовь свою к поэзии. Не знаю, удачны ли были опыты мои для света; но знаю наверно, что для души моей они были спасительны». Не пропустите последней фразы — это уже признание поэта, испытавшего очищающее воздействие творчества. Мысль о поэзии как чудесном талисмане, врачующем душу, мы не раз встретим в стихах, критических заметках и письмах Баратынского к друзьям. Она станет одним из самых стойких и излюбленных его поэтических и человеческих утверждений, не проходящих с годами. Но именно сейчас, в Петербурге, он впервые почувствовал и понял это.

Вот и началась собственно поэтическая биография Баратынского.

После длительных хлопот 8 февраля 1819 года юноша был зачислен рядовым в лейб-гвардии Егерский полк. Тогда же при содействии бывших соучеников по Пажескому корпусу, в первую очередь Александра Креницына, давно пробовавшего себя в поэзии, Евгений познакомился с лучшими столичными литераторами. В. А. Жуковский, Н. И. Гнедич, Ф. Н. Глинка, П. А. Плетнев, А. И. Одоевский, К. Ф. Рылеев, А. А. Бестужев, И. И. Козлов, А. А. Дельвиг, В. К. Кюхельбекер, А. С. Пушкин — вот далеко не полный круг его новых друзей, единомышленников, людей, искренне симпатизировавших юному дарованию.

Особенно сблизился Баратынский с молодыми поэтами-лицеистами, игравшими уже заметную роль в литературной жизни Петербурга. Сложился «союз поэтов» — «свободный, радостный и гордый», как назвал его Кюхельбекер в стихотворении «Поэты» (1820), обращенном к друзьям, «любимцам вечных муз». Пушкин, Баратынский, Дельвиг, Кюхельбекер — какие непохожие судьбы, разные дарования, но как велико внутреннее, духовное родство стихов, чувств, мыслей, поступков этих людей, вместе с другими открывавших новую страницу русской литературы.

Какой же была она и какой становилась, чем жило русское общество в конце 1810-х годов, когда рядовой Баратынский выбрал свое жизненное поприще?

Лишь недавно закончилась Отечественная война 1812 года, ставшая рубежом в социально-политической и умственной жизни России. Радость и гордость победившего народа, лелеявшего надежду на перемены и в собственной стране, были очернены созданием Священного союза европейских монархов и стремлением власть предержащих уничтожить в зародыше всякую живую и независимую мысль. То было время инквизиторской деятельности Министерства духовных дел и народного просвещения, пресекавшего любое проявление вольнодумства, и время декабристского «Союза благоденствия». Время неистовства цензуры, во всем видевшей крамолу и посягательство на авторитет власти, и время издания журналов «Сын Отечества» и «Соревнователь просвещения и благотворения», ставящих своей целью пропаганду свободолюбивых идей и распространение просвещения.

Вот два ярких свидетельства о происходившем.

Писатель-декабрист А. А. Бестужев, автор письма к Николаю I «Об историческом ходе свободомыслия в России», так говорил о причинах народного недовольства: «Еще война длилась, когда ратники, возвратясь в домы, первые разнесли ропот в классе народа... Мы проливали кровь, — говорили они, — а нас опять тиранят господа... Сначала, покуда говорили о том беспрепятственно, это расходилось на ветер, ибо ум, как порох, опасен только сжатый... Но с 1817 года все переменилось. Люди, видевшие худое или желавшие лучшего, от множества шпионов принуждены стали разговаривать скрыто, — и вот начало тайных обществ. Притеснение начальством заслуженных офицеров разгорячило умы... Тогда-то стали говорить военные: «Для того ль освободили мы Европу, чтобы наложить ее цепи на себя? Для того ль дали конституцию Франции, чтобы не сметь говорить о ней, и купили кровью первенство между народами, чтобы нас унижали дома?»...»

Еще более определенно на одном из конспиративных собраний высказался М. П. Бестужев-Рюмин, казненный после поражения восстания декабристов: «Век славы военной кончился с Наполеоном. Теперь настало время освобождения народов от угнетающего их рабства, и неужели Русские, ознаменовавшие себя столь блистательными подвигами в войне истинно Отечественной — Русские, исторгшие Европу из-под ига Наполеона, не свергнут собственного ярма?»

Политически и духовно организованным противовесом верховному гнету стало движение декабристов. Именно эта, по выражению А. И. Герцена, «фаланга героев» — «богатыри, кованные нз чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники», воодушевленные ростом национального самосознания во время Отечественной войны 1812 года и желанием освободить свой народ от цепей, — первой вышла на открытый бой против самодержавия и крепостничества. Вышла «сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия».

Декабристы понимали, что борьба будет нелегкой и потребует самопожертвования во имя общего блага, но бесстрашно шли на это, руководствуясь высоко понимаемым долгом патриота и гражданина. В альма-

нахе «Полярная звезда» на 1825 год были напечатаны пророческие строки из поэмы К. Ф. Рылеева «Наливайко», предвосхитившие слова Герцена:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа, —
Судьба меня уж обрекла,
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной, —
Я это чувствую, я знаю...

О том же говорил Рылеев М. А. Бестужеву, когда прочел ему эти стихи: «Верь мне, что каждый день убеждает меня в необходимости моих действий, в будущей погибели, которою мы должны купить нашу первую попытку для свободы России». «Умрем, ах, как славно умрем!» — воскликнул за два дня до выхода на Сенатскую площадь поэт-декабрист А. И. Одоевский.

В тех исторических условиях восстание декабристов было обречено на поражение, но дух декабризма, вошедший в сознание и настроения передовой части русского общества, искоренить уже не удалось. «Узок круг этих революционеров, — писал В. И. Ленин, характеризуя в статье «Памяти Герцена» первый этап революционно-освободительного движения в России. — Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало...»[1] Верили в это и сами декабристы. Отвечая на знаменитое послание Пушкина, утверждавшего: «Не пропадет ваш скорбный труд И дум высокое стремленье», А. И. Одоевский имел полное историческое право заявить: «Наш скорбный труд не пропадет: Из искры возгорится пламя...»

Деятельность тайных обществ, естественно, была ограничена узким кругом единомышленников. Стремление же к широкому разъяснению и пропаганде свободолюбивых идей заставляло искать легальные, неполитические формы воздействия на общество. Значительную пользу в распространении идей декабризма принесла деятельность литературного общества «Зеленая лампа» — филиала «Союза благоденствия», устав

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч — Т. 21 — С. 261

которого вменял своим членам в обязанность «убеждать, что сила и прелесть стихотворений не состоит ни в созвучии слов, ни в высокопарности мысли, ни в непонятности изложения, но в живости писаний, в приличии выражений, а более всего в непритворном изложении чувств высоких и к добру увлекающих». Пушкин и Дельвиг являлись членами общества, на заседаниях «Зеленой лампы» бывал и Баратынский.

Очагом пропаганды передовых мыслей, особенно с 1819 года, когда председателем стал Ф. Н. Глинка, являлось «Вольное общество любителей российской словесности», куда перешла из «Зеленой лампы» оппозиционно настроенная молодежь. Именно здесь 13 июня 1821 года Н. И. Гнедич произнес знаменитую речь о назначении поэта, в которой сформулировал мысль о высоком общественном долге писателя. Он, по мнению Гнедича, в своих трудах должен быть «тверд, благороден, величествен», ибо для того, «чтобы владеть с честью пером, должно иметь более мужества, нежели владеть мечом». Русский писатель, утверждалось в речи, должен выражать чувства своего народа, а не подражать иностранным образцам, должен быть «воином» и бороться с «пороками, предрассудками и невежеством». Баратынский был избран членом-корреспондентом, а затем и действительным членом общества.

В 1813—1824 годах в Петербурге выходило более сорока периодических изданий, почти тридцать — в Москве, одиннадцать — в провинции. Среди них было немало журналов и альманахов, выражавших прогрессивные общественные настроения. Это в первую очередь журнал «Сын Отечества», печатавший материалы исторического, политического и литературного характера. На его страницах выступали Ф. Н. Глинка, Н. И. Тургенев, Н. М. Муравьев, К. Ф. Рылеев, А. А. Бестужев, В. К. Кюхельбекер, А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, П. А. Вяземский и другие общественные деятели и литераторы. Важную роль в формировании свободолюбивых мнений играл орган «Вольного общества любителей российской словесности» научно-литературный журнал «Соревнователь просвещения и благотворения». Именно здесь Рылеев напечатал несколько дум и отрывков из поэмы «Войнаровский». Читатели журнала так и не получили последний его номер за 1825 год, так как основные авторы и издате-

ли были арестованы или привлечены по делу декабристов. Наиболее тесно с тайными обществами были связаны научно-публицистический журнал И. М. Сниткина «Невский зритель» и альманахи К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева «Полярная звезда», В. К. Кюхельбекера и В. Ф. Одоевского «Мнемозина» и А. О. Корниловича «Русская старина», ставшие средоточием лучших российских талантов и критических умов.

В. И. Ленин отмечал, что «лучшие люди из дворян помогли *разбудить* народ». В первых рядах этих «лучших людей» — русские литераторы. Среди них немало «прямых» декабристов: К. Ф. Рылеев, А. А. Бестужев, Ф. Н. Глинка, В. Ф. Раевский, В. К. Кюхельбекер, П. А. Катенин, А. И. Одоевский и многие другие поэты, прозаики, переводчики, критики. Немало и людей, не состоявших в тайных обществах, но по образу мыслей и чувств посвятивших себя служению идеалам просвещения и свободы.

Великая отечественная литература испокон века — будь то пронизанные патриотическим духом древнерусские повести или гневные и страстные воззвания протопопа Аввакума, едкие сатиры Кантемира или горькие и несгибаемые строки Радищева — выступала защитницей угнетенных и обездоленных. Она никогда не гнула спины перед власть имущими и, будучи по самой природе своей принципиально демократичной, служила честно и верно, говоря ленинскими словами, «не скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность». Именно об этом проницательно писал А. И. Герцен в знаменитом трактате «О развитии революционных идей в России»: «У народа, лишенного общественной свободы, литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести». Новый этап в общественной жизни страны открыл и новую страницу ее литературы.

Вождем передовых русских писателей, смело вступивших в бой за прогрессивные общественные идеалы, стал молодой Пушкин, к концу 1810-х годов уже бывший автором «Воспоминаний в Царском Селе» и «Городка», оды «Вольность» и послания «К Чаадаеву», взрывные строки которого —

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы! —

сделались пафосом творчества лучших литераторов тех лет.

Тогда же в литературе утверждается новое — романтическое — направление, идейно и художественно выразившее дух переломного времени. Классицизм, бывший в XVIII веке прогрессивным явлением, к началу нового столетия и содержательно, и творчески отстал от движения жизни. Защищая и утверждая *должное* — сложившийся общественный порядок, существующую государственную систему, строгую иерархию литературных жанров, регламентацию поэтической речи, классицизм исключал нз жизни общества и отдельных людей мечту о *возможном,* надежду на перемены, изменение установленных правил, проявление индивидуального начала. Одним словом, он отстаивал общее, подчиняющееся правилам и канонам, и не принимал во внимание неповторимую человеческую личность во всем многообразии и независимости ее проявлений — ни в масштабах общественного бытия, ни в сфере частной жизни.

Естественно, что романтизм с его пристальным вниманием к духовному миру человека, критическим отношением к сущему, протестом против узаконенных общественно-литературных правил, сковывающих свободу творческих и человеческих порывов, нацеленностью на идеальное отвечал социально-политическим и культурным требованиям новой эпохи. В России, как и в других странах, он стал художественным выражением ломки феодально-крепостнических устоев, затронувшей все стороны общественной жизни: экономическую, политическую, нравственную, эстетическую.

Романтизм как исторически обусловленное идейно-художественное явление в мировой литературе отразил самую суть переходной эпохи от феодализма к капитализму. На рубеже XVIII и XIX веков старые феодальные отношения с их территориальным, сословным, общинным, цеховым, патриархально-семейным закреплением личности сменяются новыми, буржуазно-капиталистическими, едиными для всех товарно-де-

нежными отношениями. Велики были надежды на освобождение от социальных пут, связывающих человека, но не осуществились они, и потому оптимизм веры уступил у романтиков горечи разочарования. Сказалась и потеря человеком привычных социальных ориентиров, установленных феодализмом. Он оказался одиноким в стремительно развивающейся жизни: словно отплыл от одного берега, но еще не пристал к другому — не нашел себе места в только складывающейся системе буржуазно-капиталистических отношений.

Мир как бы покачнулся в глазах людей. Старое рушится, новое неприемлемо, помыслы с надеждой устремляются в будущее или с тоской в прошлое. В это бурно меняющееся время, на переломе эпох романтизм поднял на щит самоценную человеческую личность, независимую от окружающих обстоятельств, свободную в своих проявлениях, отстаивающую свои идеалы и в то же время безгранично одинокую, страдающую, отрицающую, по выражению французского писателя Альфреда де Мюссе, «все небесное и все земное».

Русский романтизм, будучи схожим в общих чертах с романтическими направлениями в других национальных литературах, имел свое неповторимое лицо, выражение которого определялось и особенностями исторического развития страны, и самобытностью ее культурных традиций.

В конце XVIII — начале XIX века Россия ни экономически, ни социально, ни духовно еще не была готова к буржуазно-демократической революции. И потому важнейшими импульсами для вызревания и жизнедеятельности русского романтизма стали события 1812—1814 годов, рост самосознания народа и патриотических настроений в русском обществе после победоносного завершения Отечественной войны, надежды «лучших людей из дворян» избавить родину от крепостничества и самодержавия.

Конечно, на формирование русского романтизма оказали плодотворное влияние европейские искусства и философия. Что же, духовная, не говоря об экономической, жизнь народов не обособлена, богата примерами взаимовлияния и взаимообогащения. Идеи французского Просвещения, например, благодаря хорошему знакомству русских читателей с Вольтером

и Руссо были популярны в России, но попадали-то они на благодатную почву и не просто перенимались, а переосмыслялись сообразно собственным интересам. Вообще у русской культуры есть поразительное свойство. Она — культура открытая, чуткая. Всегда сохраняя в неприкосновенности, как золотой запас, национальные основы и своеобразие, она внимательно и доброжелательно наблюдает то, чем богаты ее сестры, чем живут другие народы, и нередко берет «свое», близкое внутренним устремлениям. Одним словом, охотно учится и не стыдится того. Но потом, отобрав и усвоив необходимое для себя, переработав, сообразуясь с национальными потребностями и задачами, удивляет мир открытиями, которые могли родиться только в недрах русской культуры. Так удивляли мир порой безвестные строители древнерусских храмов и Андрей Рублев, Иван Федоров и Михаил Ломоносов, Александр Пушкин и Федор Шаляпин...

Условия возникновения русского романтизма, особая роль отечественной литературы в духовной жизни общества, ее тесная связь в начале XIX века с освободительным движением — все это придало неповторимые национальные черты новому направлению. У корней своих оно было тесно связано с классицизмом, с его гражданственным, патриотическим пафосом, у кроны — с реализмом, органически воспринявшим такие основополагающие для романтиков понятия, как историзм, национальная самобытность, народность. Многим обязана последующая литература и вниманию писателей-романтиков к внутреннему миру их героев, ибо, как уже говорилось, именно романтизм выдвинул человеческую личность в центр бытия, сделал ее мерой всего происходящего, точкой отсчета освоения мира.

В своем развитии русский романтизм прошел два этапа. Как художественная система он сложился в 1810-х годах, т. е. как раз в то время, когда юный Баратынский вступал на литературное поприще. 1825 год — граница между периодами. Первый несмотря на неоднородность и различие конкретных идейно-художественных воззрений его представителей формируется в целом под влиянием патриотического подъема и нарастания свободолюбивых настроений в стране. Разочарование в сущем еще не приобретает

оттенка трагичности, но, напротив, усиливает бунтарские мотивы. Элегические настроения не вырастают до вселенского отчаяния и не заглушают веры в достижение социальной справедливости, в возможность обретения лучшей доли. Историческое прошлое еще не стало прибежищем от неразрешимых проблем настоящего, в нем ищут героические примеры для подражания, образцы высокой гражданственности. В будущее смотрят с надеждой, а человеческая личность мыслится способной преобразовать мир на началах гармонии и счастья...

Позже русский романтизм окажется перед необходимостью поиска новых идеалов. Об этом точно скажет А. И. Герцен в уже знакомом нам трактате «О развитии революционных идей в России»: «Все мы были слишком юны, чтобы принять участие в 14 декабря. Разбуженные этим великим днем, мы увидели лишь казни и изгнания. Вынужденные молчать, сдерживая слезы, мы научились, замыкаясь в себе, вынашивать свои мысли — и какие мысли! Это уже не были идеи просвещенного либерализма, идеи прогресса, — то были сомнения, отрицания, мысли, полные ярости...» В последекабрьскую эпоху в романтизме, с одной стороны, возобладают мотивы отрицания безжалостной действительности, настроения безверия и одиночества, трагизма неравной борьбы с «железным веком», а с другой — господствующую роль приобретет стремление уйти в личный, замкнутый, внутренний мир, недоступный для окружающего, в мир философии и поэзии, где все подчинено лишь свободной фантазии художника, в мир, где недостаток социальных и политических идеалов в реальности возмещается напряженной работой мысли, познанием красоты природы и самопознанием.

Но — не будем забегать вперед. Более подробный разговор о чертах русского романтизма конца 20-х — начала 40-х годов пойдет, когда Евгений Баратынский сам окажется перед необходимостью поиска собственного творческого пути после 14 декабря. Нам с вами, читатель, книга русской истории и литературы уже знакома — мы вспомнили несколько ее страниц, чтобы лучше представить те условия, в которых наш герой начинает самостоятельную жизнь и которые, естественно, так или иначе определили его личную судьбу

и судьбу его таланта. Мы оставили молодого поэта вскоре после приезда в Петербург и вступления рядовым на военную службу. Что же дальше?

Пользуясь правом жить на частной квартире, Баратынский поселился вместе с Дельвигом. Квартира была невелика — три небольших, симпатичных, как писал Евгений матери, комнаты и немного мебели. Сохранилось несколько дружеских свидетельств о жизни двух поэтов. Обратимся к ним, чтобы лучше понять, каким же внутренним настроем окрашивалось новое петербургское бытие. «Оба поэта, — читаем мы в воспоминаниях В. П. Гаевского о Дельвиге, — жили самым оригинальным, самым беззаботным и потому беспорядочным образом, почти не имея мебели в своей квартире и не нуждаясь в подобной роскоши, почти постоянно без денег, но зато с неистощимым запасом самой добродушной, самой беззаботной веселости». «Молодости было много, а денег мало, — писал впоследствии П. А. Вяземский. — Они везде задолжали, в гостиницах, лавочках, в булочной: нигде ничего в долг им более не отпускали. Один только лавочник, торговавший вареньями, доверчиво отпускал им свой товар... На этом сладком пропитании продовольствовали они себя несколько дней».

Еще одно свидетельство принадлежит самим поэтам. В 1819 году они сочинили шуточное стихотворение, которое очень нравилось Пушкину. Позднее, весной 1827 года, на одном из литературных вечеров под общий смех он упросил Баратынского припомнить прежнее житье-бытье и веселые строки, тогда же сложенные:

Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком,
Жил поэт Баратынский с Дельвигом, тоже поэтом.
Тихо жили они, за квартиру платили не много,
В лавочку были должны, дома обедали редко.
Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,
Шли они в дождик пешком, в панталонах трикотовых тонких,
Руки спрятав в карман (перчаток они не имели!),
Шли и твердили, шутя: «Какое в россиянах чувство!»

Пышные гекзаметры, из которых — вспомните — сложены величавые «Илиада» и «Одиссея» Гомера,

придают этому стихотворению удивительно комичный и задорный тон, точно, по-видимому, соответствующий душевному состоянию молодых людей в ту пору. Но сквозь веселость и беззаботность ясно проглядывает и совершенно отчетливое самопонимание: «Жил *поэт* Баратынский с Дельвигом, тоже *поэтом*». Сказано прямо и просто, едва ли не с вызовом — во всяком случае, с полной ответственностью.

Ко времени знакомства с Баратынским Дельвиг слыл уже довольно известным литератором. Он был лишь на два года старше Евгения, а писать начал намного раньше. Сохранились произведения Дельвига 1812—1813 годов, а также стихотворения, созданные в Лицее, где для многих воспитанников поэзия стала чуть ли не главной «учебной дисциплиной». В 1814 году он регулярно печатался в журнале «Вестник Европы», в 1815 — в «Российском музеуме». Позже — в «Сыне отечества», «Украинском вестнике» и «Благонамеренном». В 1818 году был избран в «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств», в марте следующего года вступил в известное нам литературное общество «Зеленая лампа», а в сентябре стал членом «Вольного общества любителей российского словесности», где исполнял должность «цензора стихов», т. е. рецензировал представлявшиеся на суд общества поэтические произведения.

Поэтическая же биография Баратынского, как мы знаем, содержала лишь несколько начальных строк, но уже в первые месяцы петербургской жизни стала стремительно пополняться. Дружеское общение с Дельвигом, посещение литературных «сред» Жуковского и «суббот» Плетнева, творческий союз с Пушкиным и Кюхельбекером, другими литераторами — все это было для Баратынского отличной поэтической школой, где способный ученик прямо-таки перелетал из класса в класс, проявляя недюжинные способности и самобытное дарование.

И вот он стал читаемым автором. В журнале «Благонамеренный» в самом начале 1819 года появляется несколько стихотворений Баратынского. Не обошлось без курьезов. Стихи опубликовал Дельвиг без ведома друга, и Евгений был чрезвычайно поражен, увидев свое имя напечатанным. Много позже А. Л. Баратынская, жена поэта, написала, видимо, со слов мужа:

«Никогда бы он не удостоился славы, если бы один из его лучших друзей, барон Дельвиг, не напечатал одно из его стихотворений без его ведома. Баратынский часто говорил о сильном и болезненном впечатлении от подобной неожиданности и замечал, что никакой успех не мог искупить страданий этой минуты».

Сам Баратынский, всегда чрезвычайно требовательный и к собственному творчеству, и к чужим творениям, считал, как свидетельствуют его родные, что «первые свои произведения должно посвящать богам, предавая их всесожжению». Потому-то он не раз признавался, что начал печататься только благодаря Дельвигу. Но — как бы то ни было — имя поэта пришло к нему.

Вообще участие Дельвига в судьбе Баратынского оказалось чрезвычайно плодотворным и требует особого внимания. Конечно, это не он сделал друга поэтом: талант рано или поздно проявил бы себя. Но именно Дельвиг — «брат по музам», как назвал его Баратынский в поэме «Пиры» (1820), — вовремя угадал этот талант, поддержал и помог определиться. Мы помним, что Дельвиг, обладающий удивительной душевной и художнической чуткостью, еще в Лицее почуял гений Пушкина и с торжественностью публично предрек ему бессмертное будущее (стихотворение «Пушкину», 1815). Точно так же он гордился предвидением поэтического триумфа Баратынского, в чем откровенно и опять-таки публично признался в сонете «Н. М. Языкову» (1822):

Я Пушкина младенцем полюбил,
С ним разделял и грусть и наслажденье,
И первый я его услышал пенье
И за себя богов благословил,
Певца *Пиров* я с музой подружил
И славой их горжусь в вознагражденье.

Творческие и человеческие взаимоотношения Баратынского и Дельвига с самого начала были исполнены братской любви, неподдельной симпатии, искреннего стремления помочь друг другу. Поэты нередко обсуждали замыслы будущих произведений, выносили на товарищеский суд готовые стихи. Так, по воспоминаниям А. П. Керн известно, что Баратынский присылал другу свои сочинения до отправки их в печать, а тот,

прочитав, отдавал жене переписывать. Сохранилась копия идиллии Дельвига «Отставной солдат» с замечаниями и поправками Баратынского. В начале 1820-х годов они постоянно обменивались стихотворными посланиями, в которых не только воспевали дружбу, любовь и беззаботную молодость, но утверждали и защищали идейные и художественные воззрения того поэтического круга — свободолюбивого и независимого «союза поэтов», к которому принадлежали. Вот строки из послания Баратынского «Дельвигу» (1821), чрезвычайно показательного для взаимоотношений поэтов и их мироощущения:

Ты помнишь ли, с какой судьбой суровой
Боролся я, почти лишенный сил?
Я погибал, — ты дух мой оживил
Надеждою возвышенной и новой.
Ты ввел меня в семейство добрых муз;
Деля досуг меж ними и тобою,
Я ль чувствовал ее свинцовый груз
И перед ней унизился душою?..
Забытые фортуною слепой,
Мы ей назло друг в друге все имели
И, дружества твердя обет святой,
Бестрепетно в глаза судьбе глядели.

Стихотворение это было впервые опубликовано в альманахе Рылеева и Бестужева «Полярная звезда» на 1823 год. Думается, не случайно. В контексте декабристских настроений послание, видимо, прочитывалось весьма современно. Решенное в романтическом ключе, на противопоставлении чуждого внешнего («судьба суровая», «фортуна слепая») и близкого внутреннего («семейство добрых муз», дружества «обет святой»), оно утверждало самоценность и независимость человека, духовно противостоящего враждебной действительности. А если вспомнить, что для декабристов, как гласит один из пунктов устава «Союза благоденствия», главное достоинство поэзии было «в непритворном изложении чувств высоких и к добру увлекающих», то в стихотворении Баратынского за личной интонацией можно почувствовать и иной, отнюдь не нейтральный по отношению к существующему жизнеустройству смысл. Так что «союз поэтов», в который входили Дельвиг и Баратынский, скрепляли не

только дружба и бескорыстное служение поэзии...

Весьма яркое свидетельство дружеских отношений между поэтами — немногие сохранившиеся письма Дельвига к Баратынскому. Во время разлуки они довольно часто переписывались, но, к сожалению, почти все письма Дельвига утрачены, а письма Баратынского, кроме одного, постигла печальная участь. После кончины друга в январе 1831 года Баратынский и Пушкин попросили вернуть свою переписку с поэтом и сожгли ее, не желая, видимо, чтобы она сделалась достоянием посторонних.

В одном из оставшихся писем 8 января 1826 года Дельвиг писал из Петербурга в Москву: «Откликнись, милый друг, перестань писать мне, что тебе некогда писать к Дельвигу, и разговорись по-прежнему. Ужели ты нашел другого поверенного в поэзии и любви, или уж не тонешь ли в пропасти пустоты Московской? Письма ко мне могут послужить тебе доскою, за которую хватаются утопающие. Надеюсь, что воспоминание о товарище разнообразной и живой жизни может иногда пробуждать Евгения к деятельности сердечной. Никогда подобного не случалось...» Из письма 1828 года: «Душа моя, я получил письмо твое, как не знаю что-то радостное, драгоценное. Теперь только понимаю, какую цену имели для тебя мои письма в Финляндии. Понимаю и каюсь, что редко писал к тебе...» Из письма 1829 года: «Ты пишешь, буду ли я издавать Северные Цветы. Буду и прошу не оставлять их[1]. Твой же запас желал бы прочесть поскорее. Ужели ты думаешь, что твои стихи мне только надобны для альманаха? Мне нужно для души почитать их: она бедная голодна и сидит на журнальных сухариках».

Смерть Дельвига глубоко потрясла его друзей. Как удивительно похожи в своем горе Пушкин и Баратынский в письмах к Плетневу. Пушкин — 21 января 1831 года из Москвы в Петербург: «...Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд, я глубоко сожалел о нем как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изо всех связей детства он один оставался на виду — около него собиралась наша бедная кучка.

[1] Баратынский был постоянным автором альманаха «Северные цветы» и «Литературной газеты», издаваемых Дельвигом.

Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам: сколько нас? ты, я, Баратынский, вот и все... Баратынский болен с огорчения».

А вот письмо Баратынского из села Каймары Казанской губернии в Петербург в июле 1831 года: «Потеря Дельвига для нас незаменяема. Ежели мы когда-нибудь и увидимся, ежели еще в одну субботу сядем вместе за твой стол, — боже мой! как мы будем еще одиноки! Милый мой, потеря Дельвига нам показала, что такое невозвратно прошедшее, которое мы угадывали печальным вдохновением, что такое опустелый мир, про который мы гворили, не зная полного значения наших выражений. Я еще не принимался за жизнь Дельвига[1]. Смерть его еще слишком свежа в моем сердце. Нужны не одни сетования, нужны мысли; а я еще не в силах привести их в порядок...»

Введенный Дельвигом «в семейство добрых муз», Баратынский с лихвой оправдал надежды своего друга-наставника. За первой публикацией последовали новые выступления. Имя поэта с каждым стихотворением, вынесенным на суд читателей, становится все известнее и популярнее. На Баратынского начинали смотреть, как на одного из самых многообещающих поэтов России. Не случайно в письме к издателю журнала «Сын Отечества» известный в те годы поэт, переводчик, критик и театральный деятель, член декабристского «Союза спасения» П. А. Катенин с сожалением укажет, что в «Опыте краткой истории русской литературы» нет сведений о некоторых молодых писателях, в частности о Баратынском, в стихах которого «приметен талант истинный, необыкновенная легкость и чистота». А ведь в то время писали стихи и печатались очень многие — в поэтическом разделе только журнала «Благонамеренный» за восемь лет были помещены произведения более двухсот авторов.

Баратынский не походил на многих, был своеобы-

---

[1] Баратынский, Пушкин и Плетнев собирались написать воспоминания о Дельвиге. «Напишем же втроем жизнь нашего друга, — писал Пушкин Плетневу 31 января 1831 года, — жизнь, богатую не романтическими приключениями, но прекрасными чувствами, светлым чистым разумом и надеждами». В 1833—1834 годах Пушкин набросал небольшой отрывок к этим воспоминаниям; о своем намерении создать «Жизнь Дельвига» часто упоминает в письмах и Баратынский. К сожалению, замысел этот не осуществился.

чен и самостоятелен. Позднее один из современников поэта так определил первые впечатления от встреч с этим самобытным телантом: «Все мы любили его стихи; живые, гармонические, глубоко и сильно прочувствованные, отчетливо и точно выраженные, они были приняты нами с полным наслаждением. К тому же в этих стихах всегда была мысль; это был поэт-мыслитель; для нас, да и для всей России, поэт-мыслитель был неожиданной новостью».

ПЕВЕЦ ФИНЛЯНДИИ

Баратынский не принадлежит к тем поэтам, творческая эволюция которых видна с первого взгляда — от неумело-беспомощных стихов к зрелым произведениям. В его поэтическом наследии мы не найдем в принятом понимании ученического периода, пробы пера. На литературное поприще он вступил хотя и молодым человеком, но уже вполне сложившимся мастером. Недаром Пушкин в неоконченной рецензии на выход в 1827 году «с таким нетерпением ожидаемого» собрания стихотворений Баратынского отметил: «Знатоки с удивлением увидели в первых опытах стройность и зрелость необыкновенную». В начале 1820-х годов из-под пера Баратынского уже вышли знаменитые элегии «Ропот», «Финляндия», «Уныние», «Разуверение», «Две доли», «Безнадежность», «Истина», «Признание», «Череп», принесший ему, по выражению того же Пушкина, титул «нашего первого элегического поэта».

Естественно, в начале творческого пути Баратынский осваивал достижения предшественников и старших современников. Мы уже говорили о его интересе к французской литературе, хорошем знакомстве с русской поэзией. И потому нет ничего необычного в том, что в ранних произведениях «Певца Пиров и грусти томной», как назвал Баратынского Пушкин в третьей главе «Евгения Онегина», чувствуется близость русских и французских элегиков конца XVIII — начала XIX века, слышны отзвуки державинской лиры, видна дружба с музой Жуковского и Батюшкова. Однако лишь немногие литературные традиции и веяния, бытовавшие в то время, находили отзвук в стихах Баратынского. Да и они подвергались строгому отбору —

оставалось только созвучное собственным устремлениям, но и оно было одним из слагаемых поэтического самоопределения.

Баратынский — и это хорошо почувствовали уже первые читатели — сразу же заявил о себе как о поэте философского склада. Мы помним, как в полудетских поисках смысла жизни, чтениях французских философов, раздумьях о превратностях судьбы вызревала собственная, самостоятельно найденная и пережитая мысль юного Евгения. И вполне закономерно, что она стала идейным ядром его поэзии, ее внутренним двигателем. Элегии, дружеские послания, эпиграммы, стихи на случай и в альбом, прозаические опыты, письма к родным и друзьям — какой бы темы ни касался поэт, в какую бы форму ни облекал поэтический образ, на всем лежал отпечаток серьезного и тревожного раздумья о мире и человеке в нем, о счастье и гармонии, вере и истине. Эти раздумья и составят «лица необщее выраженье» музы Баратынского, принесут ему славу одного из самых глубоких русских лириков...

А пока — накануне своего двадцатилетия — Баратынский переживает настоящее моральное возрождение. Он, как мечтал в детстве, стал автором, его стихи приняты не только друзьями, но и критикой и широкой публикой.

Вот если бы поэтические успехи приравнивались к знакам отличия военной службы! Но... Рядовой Баратынский очень далек от желанного офицерского чина. Правда, надежда на прощение, а значит, и быстрое повышение еще кажется реальной. Поэтому и первые впечатления от службы скорее ироничны, чем грустны. Вот как описал их поэт в шуточном послании «Дельвигу»:

> Так, любезный мой Гораций,
> Так, хоть рад, хотя не рад,
> Но теперь я муз и граций
> Променял на вахтпарад...
> Строю нет в забытой лире,
> Хладно день за днем идет,
> И теперь меня в мундире
> Гений мой не узнает!
> Мне ли думать о куплетах?

За свирель... а тут беды!
Марс, затянутый в штиблетах,
Обегает уж ряды,
Кличет ратников по-свойски...
О, судьбы переворот!
Твой поэт летит геройски
Вместо Пинда — на развод.

Но если повнимательнее вчитаться в эти веселые строки, написанные в 1819 году, то отчетливо почувствуешь, как сквозь них просачивается грусть. «Вахтпарад», «развод», «караул» — не экзотические приметы чьей-то жизни, а реальное бытие самого поэта. И бытие это не просто соединить с жизнью истинной, желаемой, поэтической. А потому последние строки послания наполнены настоящей печалью: голос друга-поэта для Баратынского «на чужбине» военной службы — это голос из иного мира, «язык страны родной».

Вскоре Евгений Баратынский испытал новый «судьбы переворот». 4 января 1820 года он был произведен в унтер-офицеры[1], но не оставлен в гвардии, а переведен в Нейшлотский пехотный полк, расквартированный в Финляндии, которая входила тогда в состав Российской империи. Казалось бы, добрый знак: повышение, хоть и небольшое, следует расценивать как начало продвижения по службе, конечная цель которого — офицерский чин, дающий общественное положение и свободу выбора. Но если разобраться, картина не столь однозначна.

Гвардия — привилегированная, наиболее близкая к императору часть войск. Здесь, при дворе, скорее можно попасться на глаза, выдвинуться, а в армейской глуши, в далекой провинции, так легко потеряться... Но в переводе из гвардии в армию есть свой резон. Обычно этот перевод сопровождался повышением

[1] Сама по себе ситуация вполне закономерная, ибо, по положению, рядовому, состоящему на общем сроке службы год и девять месяцев, прошедшему курс полковой учебной команды и выдержавшему необходимые испытания, по распоряжению командира полка присваивался чин унтер-офицера (сержанта, говоря современным языком). Для вольноопределяющихся, а Баратынский был из их числа, сроки производства меньше.

в звании[1]. Но Баратынский повышения не получил, что было расценено как недоброжелательное отношение властей. А сам перевод его из столицы в Финляндию — как изгнание.

Что ж, правительство, похоже, имело свои причины так отнестись к молодому поэту, бывшему «на замечании», как позже выразится в одном из писем знаменитый Д. В. Давыдов, принимавший большое участие в судьбе Баратынского. И причина, скорее всего, — не только детская провинность, но и нынешнее поведение. Вольнолюбивый дух и подчеркнутая независимость мировосприятия в стихах, поведении и высказываниях юных литераторов, разделявших прогрессивные взгляды оппозиционно настроенной части общества, естественно, не могли устроить ревнителей государственного порядка.

В «святом братстве» поэтов (выражение Пушкина из стихотворения «Разлука», 1817) правительству виделся некий политический союз, члены которого — Пушкин, Кюхельбекер, Дельвиг, Баратынский и другие — своими возмутительными стихами подрывают общественную нравственность и порядок. Так, представитель правого крыла «Вольного общества любителей российской словесности» В. Н. Каразин, известный в конце 1810-х годов своими доносами, содействовавшими ссылке Пушкина на юг, на одном из заседаний обрушился на «соблазнительные элегии», «сладострастные и вакхические произведения» молодых поэтов, одновременно помышляющих о «мнимых правах человека» и «свободе совестей». Весьма красноречива и записка Каразина министру внутренних дел от 2 апреля 1820 года — ее охранительная направленность ясна без всякого комментария: «...В Лицее Царскосельском государь воспитывает себе и отечеству недоброжелателей... это доказывают почти все вышедшие оттуда. Говорят, что один из них, Пушкин, по высочайшему повелению наказан. Но из воспитанников более или менее есть почти всякий Пушкин, и все они связаны каким-то подозрительным союзом...» А в доносительном

[1] И наоборот, перевод из армии в гвардию сопровождался понижением в чине. Пример тому — известный русский поэт А. А. Фет, выслуживший в армейском кирасирском полку чин штабс-ротмистра, а после перевода в гвардию начавший службу в лейб-уланском полку с младшего поручика.

письме от 4 июня того же года Каразин обвинял молодых поэтов, в том числе и Баратынского, стихи которого упоминал в числе неблагонадежных, в желании «блеснуть своим неуважением правительства».

Итак, Баратынский вновь оказался в сложном положении. Его, «проштрафившегося» однажды, наказали вторично, отодвинув производство в офицеры и лишив необходимой ему литературной и дружеской среды, так благотворно подействовавшей на пробудившийся талант. Было от чего прийти в уныние! Недаром Пушкин, сам много претерпевший от властей и переживший изгнание, в 1825 году, сидя под «домашним арестом» в Михайловском, в письме брату так расценивает положение друга и соратника: «Что Баратынский?.. И скоро ль, долго ль?.. как узнать? Где вестник искупленья? Бедный Баратынский, как об нем подумаешь, так поневоле постыдишься унывать».

Конечно, все эти жизненные обстоятельства зримо запечатлелись в стихах «бедного Баратынского», которому, как он сам писал вскоре после отъезда в послании «К Кюхельбекеру» (18 января 1820 года), судьбина вновь «посох странника вручила». Печаль, грусть, ропот, судьба, уныние, одиночество, безнадежность — вот едва ли не самые употребительные слова его поэтического лексикона в первые месяцы из долгих пяти финляндских лет.

Но что для нас сегодня особенно интересно — они или схожие с ними не редки и раньше. К примеру, читатели журнала «Благонамеренный» в № 15 за 1819 год познакомились с такими строками из стихотворения «Прощание»:

> Простите, милые досуги
> Разгульной юности моей,
> Любви и радости подруги,
> Простите! вяну в утро дней!..
> Бежит изменница-любовь!
> Светильник дней моих бледнеет,
> Ее дыханье не согреет
> Мою хладеющую кровь.

А в № 1 журнала «Невский зритель» за 1820 год в элегии, получившей позднее название «Ропот», девятнадцатилетний поэт признавался:

С тоской на радость я гляжу, —
Не для меня ее сиянье,
И я напрасно упованье
В больной душе моей бужу.

На первый взгляд, начальные стихи финляндского периода просто продолжают эти мотивы, примером чему могут служить хотя бы строки из «Подражания Лафару», помещенного в № 3 того же «Невского зрителя» с датой «Фридрихсгам, 15 марта 1820»:

Все обмануло, думал я,
Чем сердце пламенное жило,
Что восхищало, что томило,
Что было цветом бытия!
Наставлен истиной угрюмой,
Отныне с праздною душой
Живых восторгов легкий рой
Я заменю холодной думой
И сердца мертвой тишиной!

Но это не так. Нужно ли принимать за чистую монету «увядания» юного Баратынского, возродившегося душой и познавшего радость творчества в кругу петербургских друзей, «в семействе добрых муз»? Конечно же, нет. То была юношеская дань поэта сентиментально-чувствительным настроениям, широко распространившимся в литературе середины 1810-х годов. Об этом позже он сам резко и бескомпромиссно написал в послании «Богдановичу» (1824):

В печаль влюбились мы. Новейшие поэты
Не улыбаются в творениях своих,
И на лице земли все как-то не по них...
...Все мараки
Ударились потом в задумчивые враки,
У всех унынием оделося чело,
Душа увянула и сердце отцвело.

О том же с достойной откровенностью сказано и в письме к Пушкину в январе 1826 года: «Как ты отделал элегиков в своей эпиграмме! (Баратынский говорит о пушкинской эпиграмме «Соловей и кукушка», высмеивающей «элегические куку». — *П. С.*) Тут и мне достается, да и поделом; я прежде тебя спохватился и в одной ненапечатанной пьесе говорю, что стало

очень приторно «Вытье жеманное поэтов наших лет»[1].

Разница между стихами Баратынского «до» и «после» отъезда хорошо ощутима для вдумчивого читателя, знакомого с реальными обстоятельствами его жизни в Петербурге и Финляндии. «До» — стихотворство, хотя и самобытное, незаурядное; «после» — поэзия, неповторимая, единственная. «До» — условность, легко вписывающаяся в контуры элегических напевов времени; «после» — реальность глубинных творческих открытий в области психологической элегии, сделанных вопреки следованию привычным образцам.

И не беда, что в первых финляндских стихотворениях приметы лирического героя — в духе традиции, речь его — привычна для читательского слуха и глаза, поэтические ситуации — узнаваемы. Все это — не более чем знакомая оболочка, формы времени. При рождении, например, у Жуковского они были новы и плодоносны, но, отставая от идей времени, вырождаясь, стали готовым набором слагаемых для лишенных истинного вдохновения. Преодолевать такую преграду обычно удается не сразу и не полностью. И далеко не всем, но лишь самостоятельным, незаемным талантам. Ведь публика, привыкнув, требует не развития, но повторения привычного, любезного ей, уже доступного. Учить ее, вести за собой — подвиг таланта, сильного, уверенного в себе, не боящегося равнодушия и гонений непонимания. Таким путем пошел Пушкин. Рядом с ним — Баратынский.

И если с этих позиций подойти к тому же «Подражанию Лафару», то нельзя не заметить, что начинается оно строками, сразу снимающими возможный упрек в беспочвенном элегизме: «Свободу дав тоске моей, Уединенный, я недавно О наслажденьях прежних дней Жалел и плакал своенравно». Дальнейший «плач», с которым мы познакомились чуть раньше, имея внешние признаки условно-разочарованных лирических монологов, прямо мотивирован — и биографически, и поэтически — реальным состоянием «уединенного» Баратынского, действительно лишившегося всего, «чем сердце пламенное жило». А потому и в читательском восприятии элегическая ситуация становится предмет-

[1] Это, видимо, строка из первой — несохранившейся — редакции послания «Богдановичу», известной современникам.

ной, личностно окрашенной и оценивается иначе, чем «вытье жеманное поэтов наших лет»..

Но и это не самое главное. Вдохнув живое чувство в привычные лирические формы, Баратынский не довольствовался тем, не пошел по пути повторения удачно найденного. Его знаменитые элегии начала 1820-х годов — «Уныние» (1821), «Разуверение» (1821), «Дельвигу» (1821), «Две доли» (1823), «Безнадежность» (1823), «Истина» (1823), «Признание» (1823), «Череп» (1824) — стали явлением в русской поэзии не только по глубине и психологической достоверности трактовки общих тем, но прежде всего — по своему характеру, творческому происхождению. В них в отличие от традиционных элегических произведений, где чувства, настроения и положения как бы заданы заранее, отчетливо проявилось стремление автора показать первопричины лирической ситуации, проследить ее развитие, соотнести единичное и общее, из частного явления сделать всеохватный вывод, за фактом личной биографии увидеть закономерность, повелевающую ходом событий.

И лирический герой этих стихотворений является читателю не застывшим в своей разочарованной позе, без готового, заранее угадываемого суждения о своей печальной судьбе, но переживает вместе с ним все перипетии происходящего. Герой этот прежде всего думает, и мысль его, формируясь в присутствии читателя, постепенно, от строки к строке, овладевает нашим вниманием, все настойчивее проникает в стихотворную ткань и, наконец, занимает центральное место в той поэтической картине, что создается автором.

Поэт с каждым новым произведением все больше становится философом, размышляющим над законами, подчиняющими себе все живое в прошлом и настоящем, в том числе и жизнь самого поэта. Но это не отвлеченная мысль, а страстное переживание всего, чем живет ум и сердце, это боль за человека, мучительно ищущего и не находящего счастье. Мысль о счастье, о гармонии, о преодолении разлада между духовным и материальным в мире и самом человеке, отчетливо прозвучавшая именно в финляндских стихах, станет впоследствии для Баратынского основой его поэтической философии.

Тогда же обозначились и основные контуры этой

философии. В центре поэтического мировосприятия Баратынского лежит дуалистическое — в духе философии Декарта, которого он сочувственно поминал в посланиях «Н. И. Гнедичу» (1823) и «К...» (1824) — представление о существовании двух субстанций: материальной и духовной, явленных в человеке в виде «телесной» и «умственной» природы («Последняя смерть», 1827). Духовное начало суть возвышенное, истинное. Материальное чуждо «искре небесной» («Дельвигу», 1821). Это противоречие, по Баратынскому, — внутренний источник трагедии человека, для которого настоящая жизнь — жизнь духа. Такое мироощущение обусловливает характерное для романтизма возвеличивание духовного и враждебное отношение ко всему, не проникнутому возвышенной идеей. Отсюда же — знаменательная для романтиков поэтизация гармоничной древности в противовес рационализму «железного века», что особенно станет отчетливым у позднего Баратынского («Последний поэт», «Приметы», «Рифма»). В контексте времени, когда нарастали оппозиционные настроения официальной государственности, подобная поэтическая позиция несла явный социальный заряд и лишний раз подтверждала, что расхождения во взглядах между правительством и Баратынским, хотя и не носили революционного характера, проявлялись последовательно.

Романтическая субъективность позволила поэту перенести противоборство враждебных сил в человеке на все явления бытия, включая, разумеется, и общественные, а в позднем творчестве — наоборот, несовершенством мироздания объяснять несовершенство человека. Способствовал этому и философский склад творческого мышления Баратынского, его склонность к универсальным обобщениям.

Вопрос о соотношении материального и духовного решался поэтом неоднозначно, в разных планах. Чувство противопоставлялось рассудку, мечта — реальности, надежда — опыту, вера — истине, поэзия — «холодности, прозаизму, положительности и вообще исключительному стремлению к практической деятельности» (выражение И. В. Киреевского из статьи «Девятнадцатый век»). Но в какой бы плоскости ни решался этот вопрос, угол зрения Баратынского оставался единым, романтическим. «Прекрасное положительнее

полезного» — так он позднее определит свое кредо в одном из писем.

Такая позиция Баратынского-поэта при определенной близости к общим романтическим воззрениям основным истоком имеет жизненную позицию Баратынского-человека. Утверждение творческой самостоятельности и личной независимости, прославление свободолюбивых порывов человеческого духа и вера в высокое назначение художника, понимание искусства как активной и действенной общественной силы, выступления против ростовщических методов и торговой логики литературно-полицейского триумвирата Греча, Булгарина и Каченовского в защиту всего «прекрасного и честного» — все это вызывало у современников, проницательно угадавших необычность дарования поэта, несомненные симпатии. А позже позволило Герцену назвать имя Баратынского в числе тех, кто «осмелился поднять голову выше уровня, начертанного императорским скипетром».

Первой среди лучших произведений Баратынского, явственно проявивших эти новые качества его поэзии, стала элегия «Финляндия» (1820), принесшая автору заслуженную славу «певца Финляндии». Целая жизненная и философская программа заключена в ее итоговых строках, превратившихся в своего рода поэтический манифест молодого изгнанника, устоявшего под ударами судьбы:

Но я, в безвестности, для жизни жизнь любя,
Я, беззаботливый душою,
Вострепещу ль перед судьбою?
Не вечный для времен, я вечен для себя:
Не одному ль воображенью
Гроза их что-то говорит?
Мгновенье мне принадлежит,
Как я принадлежу мгновенью!

В этих стихах, пожалуй, впервые у поэта на смену эпикурейскому призыву ловить «пролетное мгновенье», «покоя сладкий миг и наслажденья миг крылатый» («Послание к барону Дельвигу», 1820) приходит понимание значимости человеческого существования, каким бы оно ни было, самоценности и независимости человека от жестокой действительности и неумолимого времени. Сила жизнеутверждения, одолевающая как

ропот одиночества, так и лишения и утраты, вера, что только свободный дух может возвыситься над законами судьбы, — вот лейтмотив многих стихов этого времени («Дельвигу», 1821; «К...», 1821; «Дельвигу», конец 1821).

Особенно сильно прозвучали эти мотивы в стихотворении «Отъезд» (1821), концовка которого как бы продолжает тему «Финляндии». Размышляя о «печальной» и «пустынной» стране, где «все питает безумье мрачных дум» и где он, довольствуясь лишь беседой с музою, позабыт «молвой гремучей», Баратынский, как и в «Финляндии», подчеркивает: «Наперекор судьбе, Не изменил питомец Феба Ни музам ни себе».

Прославляя силу и независимость человеческого духа в самых светлых стихах, написанных в период финляндского заточения, Баратынский поэтически утверждает, что «судьбой наложенные цепи» («Стансы», 1827) не могут сломить того, кто находит опору в высоком и истинном. Это, помимо привязанности к родному очагу, отеческому краю, — дружба и поэзия, две святыни, верность которым он сохранит на всю жизнь, два путеводных маяка, которые будут всегда озарять его творчество, какими бы мрачными красками ни рисовалось окружающее. В послании «Н. И. Гнедичу» мысль о том предстает обнаженной до предела. «Мне тягостно отсутствие друзей» — такая фраза в начале послания еще не вызывает особого внимания, но последующее признание невозможности ничем заменить «людей, для сердца милых» выделяет тему дружбы из общих сетований молодого изгнанника на свою судьбу. Нарастая, она завершает послание мощным аккордом: «Отдайте мне друзей: найду я счастье сам!» Параллельно ей, как главная, развивается и тема любви к «искусству другим передавать в согласных звуках чувство». И она завершается на высокой ноте сходным по глубинной искренности желанием: «Я умереть хочу с любовию моей».

Как философский итог, вбирающий в себя размышления поэта о превратностях судьбы и о том, что поддерживает его в борьбе с печалью и неволей, звучат в послании строки: «Еще я бытия владею лучшей долей, Я мыслю, чувствую: для духа нет оков...» Так Баратынский вновь подчеркнул духовную независимость своей внутренней жизни от внешних обстоя-

гельств и открыто подтвердил верность святому братству поэтов и святой поэзии, которые уже однажды возродили его к жизни и которым он не изменял ни в чем. И не изменит, как мы увидим, и в будущем. Один из верных залогов тому — убеждение, твердо высказанное в январском 1825 года письме И. И. Козлову из Гельсингфорса: «...Настоящее место мое в мире поэтическом, ибо нет для меня места в мире действительном».

СВОБОДУ ДАЙТЕ МНЕ

Сама жизнь все же оказалась более милостивой к молодому поэту, чем люди, которые считали, что жизнью этой повелевают. В суровой Финляндии, как и в холодном Петербурге, Баратынский нашел новых друзей и людей, принявших горячее участие в его судьбе. Некоторые из них, подобно Дельвигу, Пушкину, Плетневу, Кюхельбекеру, навсегда вошли в его сердце.

Командиром Нейшлотского полка, в который был определен новоиспеченный унтер-офицер, оказался полковник Г. А. Лутковский, старинный знакомый семьи Баратынских. Сослуживцы характеризовали его как «отлично храброго офицера, доброй и простой души человека». В доме Лутковского поэт нашел искреннюю заботу и симпатию и скоро стал своим человеком. Георгий Алексеевич всячески старался облегчить участь Евгения и, как свидетельствует двоюродный брат поэта В. А. Эртель, «служил ему вторым отцом». В 1823 году Баратынский написал послание «Лутковскому», наполненное неподдельным уважением к старшему другу и герою Отечественной войны 1812 года. Через жену своего командира Анну Николаевну в марте 1821 года поэт искал протекции тогдашнего президента Академии наук С. С. Уварова, написав ему письмо с просьбой помочь восстановить свое доброе имя и ходатайствовать о прощении перед императором. Евгений был дружен с племянницей Лутковского Анной Васильевной, в альбом которой вписал ряд стихотворений.

На протяжении всего пятилетия пребывания в Финляндии Баратынский ощущал постоянную помощь семьи Лутковских, во многом скрасивших горечь его положения. В феврале 1825 года он писал матери:

«Я пишу к вам из Кюмени, добрая, милая маменька, где добрый мой Лутковский и жена его приняли меня с обычной их дружбой. Я увиделся с ними с искренним удовольствием, — и могло ли быть иначе? Я пять лет провел с ними, всегда ими обласканный, всегда принятый у них как лучший друг. Им я обязан всеми облегчениями в моем изгнании».

Еще более близкие отношения сложились у Баратынского с его ротным командиром капитаном Н. М. Коншиным, оставившим интереснейшие воспоминания об этом периоде жизни поэта. Николай Михайлович сам был поэтом, человеком весьма передовых взглядов, что в конце концов послужило причиной его отставки в январе 1824 года. Впоследствии Коншин служил на государственной службе, был соиздателем альманаха «Царское село», где напечатаны стихотворения Баратынского, его имя встречаем среди адресатов Пушкина. К Коншину обращены три послания Баратынского, среди которых наиболее любопытно своим философским характером стихотворение «К-ну» («Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам...»), опубликованное впервые в журнале «Сын отечества» за 1820 год под заглавием «К Коншину» и с пометой «Фридрихсгам».

Записки Коншина стали самым полным и авторитетным источником сведений о жизни Баратынского в Финляндии. Перелистаем их. «Однажды, пришед к полковнику, нахожу у него за обедом новое лицо, брюнета, в черном фраке, бледного, почти бронзового, молчаливого и очень серьезного. В Финляндии, краю военных, странно встретить русского во фраке, и поэтому я при первой возможности спросил: что это за чиновник? Это был Баратынский». Далее Коншин рассказывает о непосредственном знакомстве с поэтом, их разговорах о Петербурге, театре, Лицее и Пушкине, о поэзии. Интересно его замечание, что любовь к поэту-изгнаннику вскоре стала в полку всеобщей: «Наши старшины полюбили его как сына, круг просвещенный, поэтому господствовавший, назвал его братом, а толпа, в должном расстоянии, окружила его уважением. Чувство к нему походило на любовь, со всей ее заботливостью, приязнь к поэту перешла даже в ряды полка: усатые служивые с почтительным радушием ему кланялись, не зная ни рода его, ни чина, зная лишь одно,

что он нечто, принадлежащее к полковому штабу, и что он Евгений Абрамович».

Баратынский часто ездил из Фридрихсгама, где находился полковой штаб, в Ликоловские казармы, в которых располагалась рота Коншина. Бывал и в расположенных неподалеку крепостях Кюмень и Роченсальм, охранявших береговую линию Финского залива, а позже переехал в Кюмень и поселился вместе с Коншиным. Весною, когда полк выступил в лагерь Вильманстранд, они побывали у водопада Иматра, описание которого Баратынский дал в стихотворении «Водопад» (1821):

Как очарованный, стою
Над дымной бездною твоею,
И, мнится, сердцем разумею
Речь безглагольную твою.

Любопытное свидетельство в связи с этим посещением приводит А. П. Керн в своих «Воспоминаниях о Пушкине, Дельвиге и Глинке». В компании с Дельвигом, Глинкой и другими она летом 1829 года ездила к водопаду и обнаружила, что «на некоторых береговых камнях написаны были разные имена и одно из них было милое и всем нам знакомое Евгения Абрамовича Баратынского».

Служба не тягостна для Баратынского, но сама ее необходимость ввергала его в глубокую печаль. Ожесточало поэта и отклонение ходатайств о производстве в офицеры, которые делало непосредственное начальство. Дикая и красивая природа Финляндии, воспринимавшаяся в первые месяцы с романтическим восторгом, удивлявшая мрачным величием и вековой мощью, со временем стала казаться угрюмой и гнетущей, будто бы нарочно усиливавшей горькие думы поэта. Да и здешние знакомые несмотря на расположение и доброжелательность далеко не во всем и не всегда могли заменить петербургских друзей. Тот же Коншин, в котором Баратынский нашел искреннего ценителя поэзии и задушевного собеседника, по собственному признанию, хорошо понимал, что они «не столько любили друг друга, сколько были нужны друг для друга» в этом далеком и пустынном краю. Да и сам Баратынский несколько лет спустя заметил: «Нравы наши довольно не сходны». И потому грусть и тоска

становятся неразлучными спутницами его жизни, ибо, как с беспощадной откровенностью признается он в элегии «Уныние» (1821), «Одну печаль свою, уныние одно Унылый чувствовать способен».

Поначалу радовали поэта и довольно частые отлучки из Финляндии — длительные отпуска, которые он получал для поездки в Петербург и домой, а также пребывание с полком для несения караульной службы в столице и Москве[1]. Встречаясь с друзьями и родными, бывая в кругу мыслящих и творческих людей, в салонах и на шумных собраниях поэтической молодежи, Евгений оживал душою. И словно уходили в небытие видения «пустынных скал» и переживания «грусти одинокой», о которых с болью писал из Финляндии друзьям «судьбой отторженный брат»:

И я, певец утех, пою утрату их,
И вкруг меня скалы суровы,
И воды чуждые шумят у ног моих,
И на ногах моих оковы.

(«Послание к барону Дельвигу», 1820)

Свидания с друзьями были тем радостней и дороже, что духовные, братские связи союза поэтов не прерывались и в разлуке. Судьба Баратынского — одна из постоянных тем в переписке многих литераторов тех лет. В стихотворных посланиях Пушкина, Дельвига, Кюхельбекера, Креницына, Плетнева и других — слова ободрения, поддержки, вера в скорое избавление, прославление силы человеческого духа:

А я пою тебя, страдалец возвышенный,
Постигнутый Судьбы железною рукой,

---

[1] За время службы — с 1820 по 1825 год — Баратынский, по подсчетам исследователей, в общей сложности около двух лет провел вне Финляндии. Дважды был в официальных отпусках: с 11 декабря 1820 по 1 марта 1821 года и с 21 сентября 1822 по 1 февраля 1823 года. Летом 1821 года, феврале и марте 1822-го находился с полком в Петербурге, а в ноябре и декабре 1823 года — в Москве. Летом 1822 года его посетили в Финляндии Дельвиг, Эртель и Н. И. Павлищев, муж сестры Пушкина. В честь этого свидания Дельвиг с друзьями перевел «Застольную песню» немецкого поэта А. Коцебу и посвятил ее Баратынскому и Коншину. Биографы поэта считают, что весной 1820 и летом 1824 годов Баратынскому также удалось побывать в столице. Был он в Петербурге в июне-августе 1824 года и в июле-августе 1825-го.

Добыча злых глупцов и зависти презренной,
Но вечно пламенный душой!

(Кюхельбекер. «К Евгению», 1820)

Пой, милый друг! Достоин будь
Души прекрасного стяжанья!
К тебе летят друзей желанья —
Лишь их и Муз не позабудь!
И в тишине уединенья,
При сладком звуке струн своих,
Мечтай с веселием о них
И не страшись реки забвенья!

(Плетнев. «Послание Поэту», 1822)

Стремительно росла и поэтическая слава Баратынского. Имя «певца Финляндии», автора популярных поэм «Пиры» (1820) и «Эда» (1824), великолепных элегий «Разуверение» и «Признание» становилось все более известным широкому кругу читателей и авторитетным в среде собратьев по поэтическому цеху. Лучшие журналы и альманахи стремились заполучить его произведения, придирчивые критики высоко оценивали необыкновенный талант. Вскоре после отъезда в Финляндию — 26 января 1820 года — Баратынский был избран членом-корреспондентом «Вольного общества любителей российской словесности». И с этой поры его стихотворения регулярно обсуждались на заседаниях общества. Когда поэт не мог сам читать их — в протоколе появлялась характерная запись «отсутствовал по известным причинам», — они читались друзьями, в частности Н. И. Гнедичем. Знаменательно, что из двух десятков произведений, в общей сложности представленных Баратынским для рассмотрения, лишь одно получило помету «исправить», остальные «одобрены» и «избраны».

Признавая растущий талант поэта, члены общества на чрезвычайном заседании 28 марта 1821 года перевели его в действительные члены. Весьма любопытна запись об этом в протоколе: «Общество, отдавая должную справедливость трудам и усердию г. Члена-корреспондента Е. А. Баратынского и найдя представленные им произведения достойными особенного уважения, определило: на основании § 26 и 42 первой части Устава произвесть его в действительные члены, будучи

уверено, что он в сем новом звании потщится усугубить ревность свою в трудах Общества и оправдать то выгодное мнение, какое о нем сословие сие имеет». Ряд произведений поэта, в том числе и элегия «Финляндия», вошел в изданное в год этого знаменательного события «Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах».

И все же радость свиданий не могла утолить жажду полнокровной жизни. Поэтические успехи, принося удовлетворение, лишь усиливали двойственность положения изгнанного поэта. Будущее рисовалось ему столь же гнетущим и неопределенным, как и раньше. Поездки в Петербург и Мару оканчивались возвращением в Кюмень и Роченсальм, дружеские послания не могли надолго расцветить уныния и однообразия военной службы, шум столичных собраний гас среди гранитного безмолвия.

С удвоенным усердием Баратынский, его семья и друзья продолжали хлопотать о прощении и производстве в офицеры, но многие прошения или не доходили до цели, или оставались без внимания. Такая участь постигла, например, письмо Баратынского президенту Академии наук С. С. Уварову. То же произошло и со знаменитым письмом поэта В. А. Жуковскому, в котором он подробнейшим образом обрисовал картину своего падения и нынешнего состояния. Письмо это, полное муки, до глубины души тронуло Жуковского, и он переслал его министру просвещения А. Н. Голицыну с такой припиской: «Письмо Баратынского есть только история его проступка, но он не говорит в нем ни о том, что он *есть теперь,* ни о том, чем он *мог быть после.* Это *моя* обязанность. Я знаю его лично и свидетельствую всеми, которые его вместе со мною знают, что он имеет полное право на уважение, как по своему благородству, так и по скромному поведению». Представление Голицына к желаемому результату не привело.

Показателен в этом плане и эпизод, который со слов Баратынского приводит в своих воспоминаниях его знакомый П. Г. Кичеев: «Так, один раз меня поставили на часу во дворце, во время пребывания в нем покойного государя императора Александра Павловича. Видно, ему доложили, кто стоит на часах: он подошел ко мне, спросил фамилию, потрепал по плечу и

изволил ласково сказать: послужи! В другой раз, когда у одного вельможи (Баратынский называл фамилию, но я ее не помню) умер единственный сын и государь соблаговолил навестить огорченного отца, то последний стал просить государя — возвратить ему сына прощением меня, государь опять милостиво изволил отозваться: «рано, пусть еще немного послужит». Нравственные силы поэта были на исходе. Недаром 5 марта 1824 года в письме к Жуковскому он не смог удержать своей растерянности и написал «Гению-покровителю»: «...Возвратите мне общее человеческое существование, которого я лишен так давно, что даже отвык почитать себя таким же человеком, как другие...»

Отчаявшись, Баратынский решился подать в отставку. Это означало бы конец всем надеждам на общественную реабилитацию — мать и друзья отговорили Евгения от необдуманного шага. Хлопоты продолжались, хотя, как казалось Баратынскому, надежд практически не оставалось, так как все возможное было использовано. По свидетельству Коншина, «ни участие властей, начиная от Главнокомандовавшего краем до последнего прапорщика в полку, ни литературная известность, дотоле ласкавшая его сердце, ни дружество всего имеющего душу, ни даже уважение всех просвещенных финляндцев, — ничто не могло возвратить его к прежней беспечности и веселью».

Но суровая судьба наконец смилостивилась над ним.

В ноябре 1823 года генерал-губернатором Финляндии был назначен А. А. Закревский. В конце мая следующего года он сделал инспекторский смотр Нейшлотскому полку. В свите Закревского находился молодой адъютант командующего Н. В. Путята. Вот как описал он первую встречу с будущим другом: «Я шел вдоль строя за генералом Закревским... когда мне указали Баратынского. Он стоял в знаменных рядах. Баратынский родился с веком, следовательно ему было тогда 24 года. Он был худощав, бледен, и черты его выражали глубокое уныние. В продолжении смотра я с ним познакомился и разговаривал о его петербургских приятелях». В лице Николая Васильевича, пока сам того не зная, Баратынский обрел умного и отлично образованного собеседника, ставшего позднее видным литературным деятелем, искреннего и надежного друга,

усердно помогавшего ему в Финляндии, и верного спутника до конца жизни.

Вскоре благодаря стараниям Путяты Баратынскому было разрешено переехать в столичный Гельсингфорс и находиться при корпусном штабе. Три месяца, проведенные здесь, стали для него самым счастливым временем пребывания в Финляндии. Здесь встретил он самый радушный прием, обрел то душевное равновесие, которого недоставало все эти годы. Близко познакомившись с поэтом, Закревский проникся к нему симпатией и пообещал сделать все возможное для его освобождения.

Уезжал Баратынский из Гельсингфорса в конце января 1825 года в приподнятом настроении. За несколько дней до его возвращения в Кюмень Закревский отбыл в Петербург, где намеревался хлопотать за поэта. «Генерал прощался со мной как нельзя любезнее, — пишет Евгений матери 10 февраля, — он обещал мне сделать все, что от него будет зависеть, для моего повышения»[1]. Конечно, все понимали, что это ходатайство будет многотрудным. Отношение властей к изгнанному поэту оставалось предубежденным. Недаром А. И. Тургенев, хорошо знавший придворные настроения, как раз в ту пору просил Вяземского нигде в печати не объявлять имени Баратынского, а Пушкин в письме брату из Михайловского в конце января — начале февраля 1825 года сожалел, что Плетнев, дав в своей статье «Письмо к графине С. И. С.» восторженный отзыв об опальном поэте, «неосторожным усердием повредил Баратынскому».

Да и сам Закревский одно время из-за интриг Аракчеева был в опале и не мог открыто ходатайствовать за другого опального. Об этом с пониманием сообщал Баратынский А. И. Тургеневу из Гельсингфорса в конце октября 1824 года: «Арсений Андрее-

---

[1] Еще весной 1824 года Д. В. Давыдов, близкий знакомый Закревского, писал старому боевому товарищу: «Сделай милость, постарайся за Баратынского, разжалованного в солдаты; он у тебя в корпусе. Гнет этот он несет около восьми лет или более. Неужели не умилосердятся? Сделай милость, друг любезный, этот молодой человек с большим дарованием и верно будет полезен. Я приму старание твое, а еще более успех в сем деле за собственное мне благодеяние». Знаменательна и просьба Пушкина в письме к брату в марте 1825 года: «Уведомь о Баратынском — свечку поставлю за Закревского, если он его выручит».

вич прав, желая повременить представлением; настоящая тому причина решительна. На последней докладной записке обо мне рукою милостивого монарха было отмечено так: *не представлять впредь до повеления.* Вот почему я и не был представлен в Петербурге. Вы видите, что после такого решения Арсений Андреевич иначе как на словах не может обо мне ходатайствовать и что он подвергается почти верному отказу, если войдет с письменным представлением. Едва ли не лучше подождать...»

И все же на этот раз попытка удалась. С хронологической точностью о ходе дела сообщает Вяземскому из Петербурга А. И. Тургенев:

«О Баратынском несет он (Закревский. — *П. С.*) сам записку и будет усиленнейшим и убедительнейшим образом просить за него. Нельзя более быть расположенным в его пользу. В этом я какую-то имею теперь надежду на успех» (20 февраля).

«Муханов, адъютант Закревского, у меня. Дело Баратынского еще не совсем удалось. Очень тяжело и грустно, но впрочем авось!» (21 марта).

«Вообрази себе, что по сию пору не имею никакого сведения об успехе дела Баратынского» (10 апреля).

«О Баратынском Дибич взял доклад в Варшаву» (28 апреля).

«Баратынский — офицер: вчера получил варшавский приказ от 21 апреля. Давно так счастлив не был» (4 мая).

Наконец-то свершилось то, чего на протяжении многих лет добивались сам Баратынский, его друзья и родные. Долгожданная свобода, а с ней и прощение были обретены. Сбылась заветнейшая и мучительнейшая мечта поэта, которую в уже известном нам послании «Н. И. Гнедичу» (1823) он выплеснул в стихи с прямотой и предельной откровенностью: «Свободу дайте мне — найду я счастье сам!»[1]

---

[1] С такой редакцией последней строки послание было опубликовано в журнале «Новости литературы» за 1823 год (кн. 6, № 41). В том же виде, ио с поправкой иных строк, оно вошло в «Собрание новых русских стихотворений» (1824). При включении послания в сборник своих стихов, изданный в 1827 году, поэт исправил эту строку на «Отдайте мне друзей: найду я счастье сам!». Такой же вариант и в «Стихотворениях Евгения Баратынского», выпущенных в 1835 году.

Весть об освобождении привез Баратынскому в Кюмень Путята. «Не могу пересказать тебе, — сообщал он в письме своему сослуживцу А. А. Муханову, близко знавшему поэта, — восхищения Баратынского, когда я объявил ему о его производстве: блаженство его в эту минуту, искреннее участие, которое все окружающие его принимали в перемене его судьбы и которое доказало мне, как он был ими любим, откровенные разговоры о прошедшем и будущем, все это доставило мне несколько приятнейших часов в моей жизни. С радостию также заметил я, что верная спутница в его несчастии, Поэзия, не будет им забыта в благополучии. Хотя он не помнил себя, бегал и прыгал как ребенок, но не мог удержаться, чтоб не прочесть мне несколько страниц из сочиняемой им поэмы, в которой он разсеял много хорошего и много воспоминаний об нашей Гельсингфорсской жизни. Доселе Поэзия была необходимостью души, убитой горестью и жаждущей излить свои чувства, теперь она соделается целию его жизни...»

Неподдельным чувством наполнены и письма самого Баратынского, признававшегося тому же Муханову, что «мочи нет от радости». Но не только радость, но и глубокую человеческую благодарность высказывает он людям, помогавшим ему, в частности своему «Гению-покровителю» Жуковскому, Закревскому, Путяте, Муханову и другим. Особая благодарность — А. И. Тургеневу, столь много хлопотавшему за поэта. Письмо к нему из Кюмени от 9 мая 1825 года — яркая самохарактеристика честного и высоконравственного человека, каким всегда был Баратынский: «Наконец я свободен и вам обязан моею свободою. Ваше великодушное, настойчивое ходатайство возвратило меня обществу, семейству, жизни! Примите, ваше превосходительство, слабое воздаяние за великое добро, сделанное мне вами, примите несколько слов благо-

---

Скорее всего первопричина этой правки — политическая: после событий на Сенатской площади любые требования свободы — личной или общественной — не могли остаться без официальных последствий. Знаменательно, что в сохранившемся экземпляре сборника 1835 года с собственноручными поправками Баратынского, подаренном поэтом В. А. Жуковскому, последняя строка послания «Н. И. Гнедичу» изменена и читается в первоначальном виде: «Свободу дайте мне — найду я счастье сам!»

дарности, вам, может быть, не нужных, но необходимых моему сердцу. Вот уже несколько дней, как все около меня дышит веселием: от души меня поздравляют добрые мои товарищи, и вам принадлежат их поздравления! Скоро возвращусь я в мое семейство, там польются слезы радости, и вы их исторгнете!..»[1]

Значимость подобных писем для понимания движений души писавшего их невозможно переоценить. Чтения их не заменить никаким пересказом или переложением, ибо, как образно выразился А. И. Герцен, «письма — больше, чем воспоминания, на них запеклась кровь событий, это — само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное». И потому в наш рассказ о жизни и творчестве Баратынского столь обильно входят письма его собственные и современников, и входят не в изложении, а прямо, как есть. Это принципиально, ибо действительно в письмах — сама эпоха, мысли, чувства, язык времени. И переводчики здесь мешают правдивому пониманию истории.

Нельзя забывать и о том, что в отличие от нашего века, изобретшего множество видов и форм человеческого сообщения, прежде письма были едва ли не единственным способом сношения людей, разделенных временем и пространством. Значили они для автора и адресата много больше, чем сейчас. Потому и писались иначе, с черновиками, с тщательностью. Недаром некоторые послания начинались с оговорки — прошу, мол, рассматривать письмо как записку, ибо писано впопыхах.

Особенно интересны нам сегодня письма писателей, для которых эпистолярный жанр был осознанным и устоявшимся литературным жанром. «Не вымысел, не увлекательный сюжет, не художественные образы влекут к себе читателей в этих письмах, — справедливо утверждает авторитетный исследователь отечественной литературы, — но драгоценные подробности жизни их авторов, их горести и радости, их мысли о жизни и искусстве, их нравственная и общественная позиция, их слог, богатый и выразительный язык. Письма

[1] 13 мая 1825 года Тургенев сообщил П. А. Вяземскому: «Я получил письмо от Баратынского, и до слез прошибла меня его радость и выражение этой радости».

раскрывают личность писателя во всей ее сложности, противоречивости и неповторимости»[1]. Добавим, что они представляют и большую историко-литературную, а не только биографическую ценность, ибо нередко содержат зародыши замыслов и планов, оценки литературного процесса, так и не ставшие цельными художественными и критическими произведениями.

Вместе с чином прапорщика Баратынский получил свободу передвижения. Он мог теперь выбирать место службы или выйти в отставку. Последнее одно время казалось поэту лучшим разрешением ситуации. По свидетельству Коншина, «питая надежду на скорое производство в офицеры, он обнаруживал смело перед нами желание тотчас оставить службу и поселиться дома». Однако теперь Баратынский оказался на распутье. Военная служба в принципе не привлекала его. Уже через две недели после производства он жаловался Путяте: «Скажу тебе между прочим, что я уже щеголяю в Нейшлотском мундире: это довольно приятно; но вот что мне не по нутру — хожу всякий день на ученье и чрез два дни в караул. Не рожден я для службы царской». Но, замечает поэт в этом же письме, «когда подумаю о Петербурге, меня трясет лихорадка». А вот и другой мотив — в письме к матери из Выборга 16 августа 1825 года Баратынский признается, что Финляндия, которая была прежде для него изгнанием, теперь представляется «сладким и спокойным убежищем».

Решение, как это часто бывает, пришло неожиданно и независимо от желания самого поэта. Болезнь матери вынудила его взять четырехмесячный отпуск и приехать в Москву, а затем и подать прошение об отставке. Друзья, в частности Дельвиг, отговаривали его оставлять службу, да и сам он не хотел расставаться с привычной обстановкой и петербургским литературным кругом. Но тяжелое материальное состояние семьи и необходимость быть рядом с человеком, столь много страдавшим за него, стали для Баратынского решающими. 31 января 1826 года он вышел в отставку и поселился в Москве.

---

[1] Макогоненко Г. П. Письма русских писателей XVIII в. и литературный процесс//Письма русских писателей XVIII века. — Л., 1980. — С. 3.

Покидая Финляндию, Баратынский переворачивал сложную и очень важную для себя страницу жизни. Судьба дала ему трудный урок, который он с честью выдержал. И с полным правом сказал об этом в «Стансах» (1825):

> Меня тягчил печалей груз;
> Но не упал я перед роком,
> Нашел отраду в песнях муз
> И в равнодушии высоком,
> И светом презренный удел
> Облагородить я умел.

По свидетельству Коншина, эти строки поэт начертал на последнем камне оставляемой им страны. Как восклицательный знак!

Жизнь в Финляндии оказалась хорошей школой и для Баратынского-человека и для Баратынского-поэта. Он научился переносить лишения и несправедливость, не бояться одиночества и ценить дружеское участие, его поэтическая лира обрела собственный неповторимый голос, а творения ее явили миру, кроме художественных красот, глубокую и серьезную мысль о человеке и его судьбе. Написанное в Финляндии утвердило за Баратынским имя одного из первых поэтов России.

В 1830 году в письме к Путяте, с высоты жизненного опыта оценивая прожитые годы, Баратынский очень точно сказал о том, что же в итоге значила для него далекая и такая близкая страна: «Поверишь ли, что я бы с большим удовольствием теперь навестил ее? Я думаю о ней с признательностью: в этой стране я нашел много добрых людей, лучших, нежели те, которых узнал в отечестве, нашел тебя; этот край был пестуном моей поэзии. Лучшая мечта моей поэтической гордости состояла бы в том, чтобы в память мою посещали Финляндию будущие поэты».

КУМИРЫ СЕРДЦА

МОСКОВСКИЙ ЖИТЕЛЬ

Решение поселиться в Москве досталось Баратынскому нелегко. Он не только скорбел об утрате привычного круга людей, близких ему творчески и человечески, не только понимал, что, живя с матерью, теряет былую самостоятельность и независимость, но и опасался, что заботы и однообразие такой жизни, тем более в Москве, уступавшей, по тогдашним представлениям, в общественном и литературном смысле блестящему столичному Петербургу, будут серьезной помехой поэзии. «Прощай свобода, прощай поэзия!» — с грустью писал поэт осенью 1825 года Путяте, объясняя причины выхода в отставку и решения жить в Москве. И, словно пророчество, — в другом письме: «Судьба, которую я предвижу, будет подобна русским однообразным равнинам, как теперь, покрытым снегом и представляющим одну вечно унылую картину».

Первые московские впечатления подтвердили реальность таких опасений. «Я скучаю в Москве, — пишет Баратынский в январе 1826 года «в скучную Финляндию» Путяте. — Мне несносны новые знакомства. Сердце мое требует дружбы, а не учтивостей, и кривлянье благорасположения рождает во мне тяжелое чувство. Гляжу на окружающих меня людей с холодною ирониею. Плачу за приветствия приветствиями и страдаю. Часто думаю о друзьях испытанных, о прежних товарищах моей жизни — все они далеко! и когда увидимся? Москва для меня новое изгнание[1]. Для чего мы грустим в чужбине? Никто не говорит в ней о прошедшей нашей жизни. Москва для меня не та же ли чужбина?»

Из близких друзей Баратынского в Москве в ту пору находились только Денис Давыдов и Александр

---

[1] Неслучайность такого признания-предчувствия подтвердил сам Баратынский в письме 1839 года к другу давних лет П. А. Плетневу: «Эти последние десять лет существования, на первый взгляд не имеющего никакой особенности, были мне тяжелее всех годов моего финляндского заточения».

Муханов, всячески старавшийся его развлечь. Давыдов также не оставлял своего «протеже», которому уже не раз помогал в жизни. Именно в его доме осенью 1825 года Баратынский познакомился с Анастасией Львовной Энгельгардт, своей будущей женой. Весть о предстоящей женитьбе поэта горячо обсуждалась его друзьями. Мнения высказывались противоположные, в том числе и беспокойство, что семейная жизнь станет помехой творчеству, а сам Баратынский будет потерян для дружеского круга. Показателен уже тот факт, что намерение Баратынского жениться разбиралось в письмах Дельвига и Пушкина, Вяземского и Тургенева, Соболевского и Льва Пушкина... Но, как бы там ни было, свадьба состоялась 9 июня 1826 года. В 1844 году, будучи с семьей в Париже, Баратынский так оценивал этот союз: «Когда, дитя и страсти и сомненья, Поэт взглянул глубоко на тебя, Решилась ты делить его волненья, В нем таинство печали полюбя... О, сколько раз к тебе, святой и нежной, Я приникал главой моей мятежной, С тобой себе и небу веря вновь».

Анастасия Львовна была старшей дочерью генерал-майора Л. Н. Энгельгардта, известного боевыми заслугами во времена Потемкина, Румянцева-Задунайского и Суворова. По материнской линии она принадлежала к роду Татищевых, дед ее был членом литературного кружка Н. И. Новикова. Она обладала определенными художественными способностями и вкусом, разбиралась в поэзии и стала Баратынскому хорошим помощником в его творческих делах. По свидетельству П. Г. Кичеева, поэт настолько доверял ее мнению, что «не выпускал в свет ни одной пьесы без ее одобрения». Подтверждал это и старший их сын Лев Евгеньевич: «Настасья Львовна была одарена утонченным вкусом в литературных произведениях; поэт часто удивлялся ее тонким суждениям и справедливым возражениям, верности ее критического взгляда. Он находил в ней ободряющее сочувствие его вдохновениям и спешил прочитывать только что вышедшие из-под пера его произведения».

Благодаря Анастасии Львовне, бывшей хранительницей рукописей Баратынского, переписчицей его стихотворений и писем, мы располагаем ныне множеством произведений, автографы которых утрачены, но

остались копии, сделанные ее рукой. Это тем более важно, что Баратынский зачастую беспощадно и неоднократно переправлял и переделывал свои творения, порой до неузнаваемости[1].

Женитьба на Энгельгардт стала для многих сюрпризом еще и потому, что избранница поэта была, как выразился Вяземский в письме к Пушкину, «девушкой любезной, умной и доброй, но не элегической по наружности». Баратынский же в глазах современников являлся признанным поклонником яркой и чувственной женской красоты и певцом любви, которой сложил гимн в прекрасных стихах[2]. Недаром Пушкин в XXX песне третьей главы «Евгения Онегина» призывает его, чтобы «на волшебные напевы» переложить письмо Татьяны. Любопытно и полушутливое предложение в письме Вяземскому в январе 1822 года: «Но каков Баратынский? Признайся, что он превзойдет и Парни и Батюшкова — если впредь зашагает, как шагал до сих пор — ведь 23 года счастливцу! Оставим все ему эротическое поприще и кинемся каждый в свою сторону, а то спасенья нет». Сходное мнение Пушкин не раз высказывал в стихах, письмах и критических статьях, в частности при разборе характеров главных героинь поэм Баратынского «Эда» и «Бал» в неоконченных набросках «Бал» Баратынского» (1828) и «Баратынский» (1830).

Баратынский сделал свой человечески и поэтически осознанный выбор. В его богатой чувствами и глубокими размышлениями интимной лирике, ставшей одной из лучших страниц русской поэзии, с самого начала соперничали две ипостаси любви. Одна — упоение, «горячки жар», который смущает рассудок, но дает блаженство и забвение. Такая любовь своенравна, мучительна, это «отрава сладкая», приносящая изнеможение, ее разрушительный огонь опустошает душу. Но уже в одном из ранних стихотворений («К-ну», 1820) мы встречаемся и с иной трактовкой любви: «В ней благо лучшее дано богами нам И нужд живей-

---

[1] «Иную пьесу, — заметил поэт в письме к Путяте в апреле 1828 года, — любишь по воспоминанию чувства, с которым она писана. Переправкой гордишься, потому что победил умом сердечное чувство».

[2] «Л-ой, «К...о», «Разуверение», «Поцелуй», «Догадка», «К жестокой», «Размолвка», «О своенравная София», «Признание», «Оправдание», «К...», «Любовь», «Уверение», «Леда» и другие.

ших утоленье!» Здесь, пожалуй, впервые Баратынский открыто высказывает свою мечту найти подругу нежную, близкую по сердцу: «И на устах ее, в ее дыханьи пить Целебный воздух жизни новой!»

Тот же поворот темы в послании «К...ну» (1821):

> Нельзя ль найти любви надежной?
> Нельзя ль найти подруги нежной,
> С кем мог бы в счастливой глуши
> Предаться неге безмятежной
> И чистым радостям души...

В этих строках[1] явно проступает осознанное разграничение любовных чувств, отчетливое их соотнесение с различными типами восприятия жизни и жизнедействия. Недаром еще в стихотворении «К-ну» поэт утверждает мысль о противоположности чувства и чувственности, о мнимом и истинном счастье, связанном с удовольствием внешним и работой души. Еще прямее о своем выборе Баратынский высказался в стихотворении «Она» (1826 или 1827): «Есть что-то в ней, что красоты прекрасней, Что говорит не с чувствами — с душой...» Отсюда уже рукой подать до главной мысли его поэтической философии, до важнейшего жизненного убеждения в том, что прекрасное положительнее полезного.

Наконец, в конце 1826 года в письме Коншину, с которым многое было передумано и переговорено в далекой Финляндии, Баратынский как бы подвел итог собственным размышлениям и рассуждениям других: «Я женат и счастлив. Ты знаешь, что сердце мое всегда рвалось к тихой и нравственной жизни. Прежде мое существование, беспорядочное и своенравное, всегда противоречило и свойствам моим, и мнениям. Наконец я дышу воздухом мне потребным; но я не стану приписывать счастия моего моим философическим правилам, нет, мой милый, главное дело в том, что бог мне дал добрую жену, что я желал счастия и нашел его. Я был подобен больному, который, желая навестить прекрасный отдаленный край, знает лучшую к нему дорогу, но не может подняться с постели.

---

[1] Первые две из них с комментарием «Как Баратынский я твержу» сочувственно процитировал Пушкин в том же году в послании «Алексееву».

Пришел врач, возвратил ему здоровье, он сел и поехал. Отдаленный край — счастие; дорога — философия; врач — моя Настинька. Какова аллегория? И не узнаешь ли ты в страсти к метафизике твоего финляндского знакомца?»

Но жизнь посложнее всякой философии, да и разрешить ее проблемы потруднее, чем каверзы метафизические. Семейные хлопоты все чувствительнее отторгали Баратынского от друзей и литературной деятельности. Росла семья поэта, и ему приходилось много заниматься хозяйственными делами, сил и времени требовали дети[1], обустройство домашнего очага. После смерти тестя Баратынский стал управлять целым рядом небольших имений Энгельгардтов, находившихся в разных губерниях и требовавших постоянного надзора. Казань, Тамбов, Тула — вот главные направления таких поездок, которые, конечно, не только физически выматывали поэта, но и отбирали душевные силы, столь необходимые для творчества. Оттого в письмах тех лет к друзьям — многочисленные признания, подобные тому, что сделано в письме к Н. М. Языкову в сентябре 1831 года, посланному из села Каймары Казанской губернии: «Кстати — о стихах: я как-то от них отстал, и в уме у меня все прозаические планы. Это очень грустно».

В переписке друзей поэта — встречные сетования. «Он не только ко мне трехгодовому приятелю своему не пишет, — жаловался Муханов брату, — но даже однокорытному, закадышному Дельвигу». «Баратынский другим образом плох, — сообщает Дельвиг Пушкину, — женился и замолчал, вообрази, даже не уведомляет о своей свадьбе». О том же пишет Плетнев Пушкину: «Баратынский, которого я право больше любил всегда, нежели теперь кто-нибудь любит его, уехавши в Москву, не хотел мне ни строчкой плюнуть». Сам поэт с горечью осознавал свое положение и откровенно тосковал по близким. «Я теперь постоянный московский житель, — сообщает он Путяте весною 1828 года. — Живу тихо, мирно[2], счастлив

[1] У Баратынского было девять детей, двое из них умерли в детстве.

[2] Еще одна гримаса судьбы, если вспомнить юного пажа, мечтавшего в корпусе о морской службе и сражениях с необузданной стихией. Чувство-то живо, но годы и обстоятельства переменились.

моею семейственною жизнью, но, признаюсь, Москва мне не по сердцу. Вообрази, что я не имею ни одного товарища, ни одного человека, которому мог бы сказать: помнишь? с кем бы мог потолковать нараспашку. Это тягостно. Жду тебя, как дождя майского. Здешняя атмосфера суха, пыльна неимоверно. Женатые люди имеют более нужды в дружбе, нежели холостые».

В отношениях Баратынского со старыми и новыми друзьями сложную роль играла порой и Анастасия Львовна. Прекрасная семьянинка, нежная и любящая жена и мать, добрый и неутомимый помощник в литетатурных делах, она своими требованиями исключительных прав на душу и занятия мужа, вспыльчивостью и неуживчивостью с посторонними, ревнивым нравом вольно и невольно способствовала отдалению Баратынского от друзей и товарищей. Окружая его плотным семейным вниманием, она нередко просто-напросто изолировала поэта от окружающих, что болезненно ранило его.

И тем радостнее были встречи с друзьями, наезжавшими в Москву, особенно с Дельвигом и Пушкиным. Эти поэты всегда, несмотря на разлуки и расстояния, были связаны нежной любовью и дружбой, взаимным уважением и глубоким пониманием творчества друг друга. И в сознании современников они были едины. Такими Пушкин, Дельвиг и Баратынский предстают, к примеру, на страницах авторитетных воспоминаний А. П. Керн, хорошо знавшей их. А вот свидетельство другого современника: «Три поэта, три друга, три вдохновения, ищущие в поэзии решение вечной задачи, борьбы внутреннего с внешним, а между тем три натуры во всем различные. Баратынский плавная река, бегущая в стройном руслe. Пушкин, быстрый, сильный, иногда свирепствующий поток, шумно падающий из высоких скал в крутое ущелье. Дельвиг ручеек, журчащий тихо через цветущие луга и под сенью тихих ив».

Поэзия и дружба были теми «кумирами сердца», которые всегда хранил поэт в душе как святыни, которые поддерживали его и в холодном Петербурге, и в сумрачной Финляндии, и в скучной Москве, которые он, «о свете не тоскуя, Предав забвению людей», берег одни в своей любви («Стансы», 1827). И пусть эти два источника на время оскудели, они были

живы, не могли умереть и питали душу поэта надеждой и волнением.

«Кумиры сердца», как ни дороги они были для Баратынского, после переселения в Москву все же на время оказались на втором плане. Семейная жизнь и хлопоты семейные — свои собственные, матери, Энгельгардтов — внешне совсем захватили все пространство его существования. Весной 1827 года Баратынский с женой и новорожденной дочерью Александрой уехал в родовую Мару и прожил там до осени. Вернувшись, поселился в доме тестя (в Чернышевом переулке — ныне улица Станкевича, дом № 6), в котором прожил довольно долго. В середине 1834 года приобрел небольшое подмосковное имение, где с удовольствием отдыхал от длительных хозяйственных разъездов и московской суеты («жизнь в Петровском прекрасна», — писал Баратынский матери), а через год купил дом на Спиридоновке (сейчас — улица Алексея Толстого, дом не сохранился) и несколько лет его обустраивал. И, как мы уже знаем, все это время постоянно ездил хозяйствовать по небольшим деревенькам, нередко заворачивая в губернские Тамбов и Казань. Несколько раз наезжал в благословенную Мару, где жили его мать Александра Федоровна, постоянно переписывавшаяся со старшим сыном, и брат Сергей Абрамович, после смерти Дельвига женившийся на Софье Михайловне Дельвиг.

В 1836 году Баратынский, похоронив тестя, с семьей поселяется в подмосковном имении Энгельгардтов Мураново, где по собственному проекту отстраивает дом и с необыкновенной увлеченностью занимается хозяйственными делами. После поездки в Петербург зимой 1840 года поэт растревожен мыслью осуществить свое давнее желание и переселиться в город на Неве, куда его постоянно зовут старые друзья. Разгорелась и многолетняя — с детства — мечта о заграничном путешествии, прежде всего в прекрасную Италию Джьячинто Боргезе. Но подробнее обо всем этом — в своем месте, а сейчас, завершая рассказ о московском житье-бытье, несколько слов о последней попытке Баратынского наладить добропорядочно-официальные отношения с государством.

В начале 1828 года поэт поступил на службу в Межевую канцелярию. Зная его внутреннее отношение

к любой «службе царской», можно быть уверенным, что двигало им лишь намерение более утвердить свое социальное положение. Получив хоть какой-то гражданский чин, Баратынский смог бы полностью обелить себя в глазах правительства, ибо, конечно же, была разница между отставным военным, не желающим служить далее — даже и по причине нездоровья, которую он выдвинул в прошении об отставке, — и государственным чиновником. Воистину прав был Пушкин, говоривший в записке «О народном воспитании», что в России зрелый человек слишком долго принуждаем расплачиваться за детские ошибки!

Естественно, из этой затеи немногое вышло, и уже в апреле того же года Баратынский жалуется Путяте: «Не гожусь я ни в какую канцелярию...» Однако два с половиной года потерпеть удалось, да и то потому, что служба оказалась весьма не обременительной. «...Слава богу, мне дела мало, — замечает поэт в том же письме, — а то было бы худо моему начальнику». Но на этом государственная карьера его закончилась раз и навсегда, и Баратынский стал обладателем замечательного служебного аттестата, внешне окончательно примирившего бывшего пажа с властями.

Текст этого документа столь своеобразен и любопытен для современного читателя, столь насыщен сведениями о поэте, что трудно удержаться, чтобы его — итоговое мнение государства о своем подданном — не привести полностью с сохранением всех особенностей: «Предъявитель сего служивший в Канцелярии моей Губернский Секретарь Евгений Баратынский, в службу вступил, как по формулярным спискам значит, из дворян, по Высочайшему повелению из Пажей за проступки рядовым Лейб-Гвардии в Егерский Полк 819 Февраля 8; по Высочайшему повелению произведен в Унтер-Офицеры с переводом в Нейшлотский Пехотный Полк 820 Генваря 4, в прапорщики 825 Апреля 21; по Высочайшему Его Императорского Величества приказу уволен от службы за болезнию 826 Генваря в 31 день; определен в Канцелярию Главного Директора Межевой Канцелярии 828 Генваря 24, Указом Правительствующего Сената переименован в Коллежские Регистраторы 828 Февраля 20; а после сего Указом Правительствующего Сената произведен Губернским Секретарем со старшинством с 14 Апреля прошлого 1830 года; во время

служения своего вел себя похвально, должность исправлял прилежно, в штрафах и под судом не бывал, в отпусках был с 11 Декабря 1820 по 1 марта 1821, с 21 Сентября 1822 по 1 Февраля 1823 и на срок месяца, с 1825 же с 30 Сентября на 4 месяца, и за болезнию к полку не прибыл; в отставке был 1826 Генваря с 31-го 1828 Генваря по 24 число, к продолжению службы и к повышению чина всегда аттестовался способным и достойным, и к представлению его за службу в Канцелярии Главного Директора Межевой Канцелярии к знаку Отличия беспорочной службы в свое время препятствий совершенно никаких не имеется; после же по прошению его для определения к другим делам уволен, в засвидетельствование чего и дан сему Баратынскому сей Аттестат за подписанием моим и с приложением Герба моего печатию. Москва. Июля 26. дня 1831 года. Богдан Гермес».

Что ж, поэт вновь сделал свой единственный выбор. Он рожден был для службы в иной «канцелярии» — помните, в письме к Козлову: «настоящее мое место в мире поэтическом»? — и постепенно, шаг за шагом освобождался от всего, что уводило в сторону. Естество требовало его полностью, неделимым. «Пора мне, — признавался Баратынский еще в апреле 1829 года в одном из писем, — приняться за перо: оно у меня слишком долго отдыхало. К тому же чем я более размышляю, тем тверже уверяюсь, что в свете нет ничего дельнее поэзии». Конечно, Баратынский никогда ни на минуту не оставлял ее, но теперь он и внешне отринул то, что сдерживало вдохновение.

В ЭТОМ РОДЕ ОН ПЕРВЕНСТВУЕТ

Обстановка московской общественной и литературной жизни на поверку оказалась все же не столь гнетущей и затхлой, как она представлялась поначалу новоиспеченному москвичу Баратынскому, да и вообще многим из деятельного и бурливого Петербурга. «Москва девичья, а Петербург прихожая», — заметил как-то Пушкин. За этим тонким и глубоким сравнением — чуткость поэта и историка, блестяще показавшего противостояние двух русских столиц в главе «Москва» из «Путешествия из Москвы в Петербург». После войны

1812 года Москва многое потеряла в наружности, ее улицы, по выражению Пушкина, стали «моложе московских красавиц», однако же город, «утративший свой блеск аристократический», процветал в других отношениях. И не в последнюю очередь — в культурном, ибо, по слову Пушкина, «просвещение любит город, где Шувалов основал университет по предначертанию Ломоносова».

Особые перемены произошли после 14 декабря 1825 года, т. е. как раз в пору переезда Баратынского. С поражением декабристов, игравших исключительную роль в формировании общественных взглядов, центр передовой русской мысли переместился из Петербурга в Москву, удаленную от воспаленного царского ока. Важнейшее место в общественном движении с конца 1820-х годов занял Московский университет, ставший колыбелью свободолюбия. В его стенах взрастали побеги антиправительственных настроений, вызревали смелые мысли, семена которых зародили декабристы. Политический кружок А. И. Герцена и Н. П. Огарева и философско-эстетический Н. В. Станкевича, тайные общества, руководимые бывшим студентом Н. П. Сунгуровым и студентами братьями Критскими[1], дело о поэме А. И. Полежаева «Сашка», содержащей открытый протест против угнетения, которое закончилось изгнанием автора из храма науки и отдачей его в солдаты, исключение из университета В. Г. Белинского за антикрепостническую драму «Дмитрий Калинин» — вот лишь некоторые проявления духовной жизни университета в конце 20-х — начале 30-х годов, порожденные, по выражению Герцена, «глубоким чувством отчуждения от официальной России». «Мы мечтали о том, — писал он позже в «Былом и думах», — как начать в России новый союз по образцу декабристов, и саму науку считали средством». Вот так, говоря ленинскими словами, «декабристы разбудили Герцена», а Петербург разбудил Москву, поднявшую знамя освободительной борьбы.

В последекабристскую эпоху ведущая роль в журналистике, которая быстрее, чем литература, отражала

[1] Знаменательно, что Михаил Критский предлагал председателем тайного общества избрать Пушкина, ибо, как и многие, видел в нем духовного сподвижника декабристов, способного повести за собой свободолюбивую молодежь.

веяния времени, также перешла к Москве. Это признавали уже сами современники. Так, Пушкин в «Путешествии из Москвы в Петербург» (1835) прямо называл причины тому: «Литераторы петербургские, по большей части, не литераторы, но предприимчивые и смышленые литературные откупщики. Ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы. Московский журнализм убьет журнализм петербургский. Московская критика с честию отличается от петербургской». О том же говорил Гоголь в «Петербургских записках 1836 г.»: «Московские журналы спорят о Канте, Шеллинге и проч., и проч.; в петербургских журналах говорят только о публике и благонамеренности. В Москве журналы идут наряду с веком, но опаздывают книжками; в Петербурге журналы нейдут наравне с веком, но выходят аккуратно в положенное время. В Москве литераторы проживаются, в Петербурге наживаются».

Сходные мысли о петербургской журналистике еще в январе 1825 года, находясь в Гельсингфорсе, высказывал и Баратынский в письме к И. И. Козлову, знаменитому автору поэмы «Чернец» и переводчику столь глубоко запавшего в русскую душу «Вечернего звона» (1827) Томаса Мура: «Наши журналисты стали настоящими литературными монополистами; они создают общественное мнение, они ставят себя нашими судьями при помощи своих ростовщических средств, и ничем нельзя помочь! Они все одной партии и составили будто бы союз против всего прекрасного и честного». А годом раньше в послании «Богдановичу» он стихами, афористично и точно, назвал черное черным: «Дарует между нас и славу и позор Торговой логики смышленый приговор». Тогда же и Пушкин с горечью в «Разговоре книгопродавца с поэтом» признавал: «Наш век — торгаш...»

Ко времени переезда Баратынского в Москву здесь сложилась весьма неоднородная, но сильная и авторитетная группа писателей и критиков, с именами которых связаны многие взлеты отечественной культуры. Это, прежде всего, поэт и критик П. А. Вяземский, входивший в пушкинский круг; поэт-гусар Д. В. Давыдов, активно в литературной жизни не участвовавший; поэт-сентименталист И. И. Дмитриев, к которому его молодые современники относились как

к патриарху русской поэзии; известный журналист Н. А. Полевой, вместе с Вяземским с января 1825 года издававший едва ли не лучший литературный журнал того времени «Московский телеграф», бывший печатным органом русского романтизма; историк и журналист, в 1827—1830 годах издатель «Московского вестника» М. П. Погодин; известный поэт Н. М. Языков. (Его Баратынский знал еще с 1824 года.)

Среди московских писателей и критиков, с которыми познакомился Баратынский, выделялись члены «Общества любомудрия»: прекрасный поэт и оригинальный философ Д. В. Веневитинов; писатель, журналист, литературный и музыкальный критик, широко образованный мыслитель В. Ф. Одоевский, «русский Гофман», как его называли, до декабрьского восстания издававший вместе с Кюхельбекером журнал-альманах «Мнемозина»; поэт и ученый С. П. Шевырев; своеобразный поэт и драматург, блестящий полемист и острый ум А. С. Хомяков, первые произведения которого печатались еще в альманахе Рылеева и Бестужева «Полярная звезда». Наибольшая дружба сложилась у Баратынского с И. В. Киреевским, игравшим весьма видную роль и в литературной критике тех лет, и в философско-эстетической деятельности «любомудров». Общение с ним стало своего рода творческим университетом и заслуживает отдельного разговора.

Живя в Москве, Баратынский, бывший в свое время завсегдатаем петербургских литературных и светских салонов, охотно посещает и здешнее общество. В первую очередь это дом Елагиных — Киреевских, в котором, по выражению одного из биографов, сходилось все, «что было в Москве даровитого и просвещенного — весь цвет поэзии и науки». С хозяйкой салона, Авдотьей Петровной Елагиной (по первому мужу Киреевской), родственницей Жуковского и матерью братьев Киреевских, у Баратынского сложились добрые дружеские отношения. Их прекрасно характеризуют строки одного из писем поэта к своему новому другу: «Мне кажется, что я разговариваю с вами, когда пишу к вам. Мне так часто случалось рассуждать и спорить при вас о литературе. Вы принимали такое живое участие в том, что обыкновенно занимает только людей, причастных к этому делу, что я все еще сохраняю привычку обходиться с вами, как с собра-

том по ремеслу». А. А. Елагину, мужу Авдотьи Петровны и отчиму братьев Киреевских, посвятил Баратынский свою поэму «Наложница», изданную впервые в Москве отдельной книгой в 1831 году[1].

Бывал поэт и в аристократическом салоне Е. А. Свербеевой, которой посвятил любезное стихотворение. Муж хозяйки — Д. Н. Свербеев — входил в круг общества Киреевских — Елагиных. Здесь же, в Москве, Баратынский познакомился и с К. К. Яниш, молодой и талантливой поэтессой, вышедшей позднее за его доброго знакомого даровитого литератора Н. Ф. Павлова, повести которого «Аукцион», «Именины» и «Ятаган» получили очень высокую оценку прессы и читателей-современников, в том числе Пушкина. Каролина Яниш-Павлова стала страстной почитательницей поэзии Баратынского, перевела многие его стихотворения на немецкий язык. Ей он написал несколько милых и остроумных стихотворений и ободрил в поэтических начинаниях. К. К. Павлова в 1842 году создала послание «Е. А. Баратынскому», ставшее данью благодарности за полученный сборник «Сумерки», сочувственно упомянула об умершем поэте в стихотворении «Зовет нас жизнь: идем, мужаясь, все мы...» (1846) и посвятила ему поэму «Кадриль», начатую еще при жизни поэта и, как явствует из посвящения, ему известную:

Ты мечты моей созданью
Ждал счастливого конца...
И, верна души призванью,
Этот труд печальной данью
Я кладу на гроб певца.

После смерти Баратынского поэтесса поддерживала связь с его семьей, особенно с сыном сестры — С. А. Рачинским, выпустившим в 1899 году «Татевский сборник», содержащий ценные материалы о дяде, и даже называла его «племянником». «Милая Каролина», как однажды назвал ее Баратынский в письме к Киреевскому, стала ему настоящим другом и в какой-то степени преемником его поэзии, бесспорно, напитавшей поэтической философией ее собственные размышления.

[1] В сборник Баратынского, вышедший в 1835 году, поэма вошла под названием «Цыганка», но с тем же посвящением.

Своим человеком стал Баратынский и в знаменитом салоне московской красавицы, поэтессы, композитора и певицы З. А. Волконской. В ее доме на Тверской бывали Жуковский, Вяземский, Языков, Дельвиг, Веневитинов и другие видные представители литературного, ученого и артистического мира Москвы. В доме Волконской был устроен прощальный концерт, когда М. Н. Раевская-Волконская ехала к ссыльному мужу в Сибирь. На нем присутствовал и Пушкин, посвятивший хозяйке прекрасное послание, в котором назвал ее «Царицей муз и красоты». Сохранились восторженные и озорные куплеты, сочиненные на день рождения Волконской 3 декабря 1828 года Вяземским, Баратынским, Шевыревым, Павловым и Иваном Киреевским.

В феврале 1829 года «Северная Коринна», как называли ее участники салона, навсегда покинула Россию. По этому грустному поводу Баратынский написал послание «Княгине З. А. Волконской на отъезд ее в Италию», в котором, помимо задушевных слов, обращенных к этой женщине, есть и строки, перерастающие рамки частного повода и относящиеся ко всему укладу московской жизни конца 1820-х годов, да и, пожалуй, России в целом:

Из царства виста и зимы,
Где под управой их двоякой,
И атмосферу и умы
Сжимает холод одинакой,
Где жизнь какой-то тяжкий сон,
Она спешит на юг прекрасный...

И этот юг, считает поэт, «лучший край и лучший мир». Согласитесь, что здесь слишком на многое лишь указано — особенно это понятно, если еще раз перечитать письма Баратынского тех лет, в которых он говорит о духовных тягостях московской жизни.

Весьма любопытной параллелью к этим строкам могут служить строки из стихотворения Баратынского шестилетней давности, адресованного С. Д. Пономаревой, хозяйке петербургского салона, в котором часто на литературных вечерах бывали Рылеев и Кюхельбекер, Дельвиг и Сомов, Панаев и Измайлов. Обра-

щаясь к «своенравной Софии», поэт выделяет то, что привлекало его и друзей на эти «несветские» вечера:

На ваших ужинах веселых,
Где любят смех и даже шум,
Где не кладут оков тяжелых
Ни на уменье, ни на ум,
Где, для холопа иль невежды
Не притворяясь, часто мы
Браним указы и псалмы,
Я основал свои надежды
И счастье нынешней зимы.

Как-то внутренне близки оказались оба послания. И прежде всего, как ни парадоксально, не в своей «положительной» части, воспевающей женскую красоту и обаяние, а в «отрицательной», отвергающей все, что теснит ум и сковывает холодом свободу человеческих проявлений. Своеобразным идейным ключом к обоим посланиям могут, наверное, служить строки из альбома П. Л. Яковлева, две страницы которого представляют записи игры в афоризмы хозяйки салона и нашего поэта. Так, одна из них, сделанная рукою Пономаревой, гласит: «Некто говорил о деспотизме русского правительства. Г. Баратынский заметил, что оно царит превыше всех законов».

От этого высказывания недалеко до «Бури», написанной в 1824 году в Гельсингфорсе и пронизанной пафосом бунтарства и свободы. Недаром при публикации в альманахе «Мнемозина» стихотворение вызвало возражение цензуры, о чем Баратынский сообщил 29 марта 1825 года Путяте: «...Буре шуметь не позволено». Но полностью оно соприкасается с эпиграммой Баратынского на Аракчеева «Отчизны враг, слуга царя», написанной в 1824—1825 годах и опубликованной лишь в советское время, но, несомненно, известной близкому окружению поэта, а возможно, и генерал-губернатору Финляндии А. А. Закревскому, бывшему ярым врагом подлого Аракчеева. Потому и не приходится удивляться, что тема свободомыслия и свободочувствия в творчестве поэта, близко знакомого со многими декабристами, которых в «Стансах»

(1827) он называл «братьями»[1], проникла и в такие внешне далекие от нее произведения, как послания к хозяйкам салонов, нравы которых отличались от строго официальных.

В доме Волконской произошла памятная для Баратынского встреча с польским поэтом Адамом Мицкевичем, высланным из Польши за участие в национально-освободительном движении. Имя автора прекрасных сонетов и баллад, величественных поэм «Конрад Валленрод» и «Пан Тадеуш» уже тогда стало известно русской публике, глубоко почитавшей выдающегося славянского поэта. Он был знаком с Рылеевым и Бестужевым, Пушкиным и Вяземским, Шевыревым и Иваном Киреевским. Виртуозный импровизатор, Мицкевич приводил своим искусством в восторг посетителей салона Волконской.

Баратынский, судя по всему, подружился с польским бардом, которому посвятил два стихотворения, в одном из них — «Не подражай: своеобразен гений...» (1828) — назвав его «Мицкевич вдохновенный», а в другом — «Не бойся едких осуждений» (1827) — «наставник и пророк». Поэт принимал участие в прощальном ужине при отъезде Мицкевича в Петербург. На золотом кубке, поднесенном ему московскими литераторами, среди имен братьев Киреевских, А. А. Елагина, Н. М. Рожалина, Н. А. Полевого, С. П. Шевырева, С. А. Соболевского вырезано и имя Баратынского. Показательно, что, когда через несколько лет в Москве стало известно о бедственном материальном положении Мицкевича, живущего под Парижем, московские писатели собрали довольно большую сумму денег и послали их другу. В числе жертвователей был и Баратынский.

Если не считать И. В. Киреевского, то ближе всех в Москве стал поэту П. А. Вяземский, дружба с которым основывалась на многолетнем литературном единомыслии и «взаимном душевном уважении», как выразился Плетнев, хорошо знавший обоих поэтов. До личного знакомства Баратынский и Вяземский, вхо-

---

[1] Именно пятая строфа «Стансов» при первой публикации стихотворения во втором номере «Московского телеграфа» за 1828 год была изъята цензурой. Внимательный читатель в строках «Далече бедствуют иные, И в мире нет уже других» мог угадать неназванных друзей поэта — Рылеева, А. Бестужева, Кюхельбекера.

дившие в число приверженцев пушкинского направления и сближенные человеческим и творческим гением Пушкина, заочно были прекрасно известны друг другу. Имя Баратынского мы постоянно встречаем в переписке Вяземского с Пушкиным и А. И. Тургеневым.

Встретившись в Москве, они крепче привязались друг к другу, и эта дружба продолжалась до самой смерти Баратынского. Да и много позже в стихах, критических статьях и личных высказываниях Вяземский с неизменной любовью упоминает это имя. Баратынский часто бывал на литературных вечерах Вяземского, дом которого находился напротив дома тестя поэта Л. Н. Энгельгардта, нередко гостил в его подмосковном имении Остафьево. В числе лучших литераторов тех лет Баратынский благодаря настойчивости и усилиям Вяземского сотрудничал в журнале «Московский телеграф», соиздателем которого до 1828 года он был вместе с Н. А. Полевым. Здесь опубликовано несколько эпиграмм и лирических стихотворений Баратынского. В 1828 году поэт по просьбе Вяземского выступал между ним и Полевым в качестве посредника по делам «чисто журнальным». Внимательно прочитал он рукопись русского перевода романа французского писателя Б. Констана «Адольф», сделанного Вяземским. И не только прочитал, находясь в Маре, но и сделал ряд поправок, которые с благодарностью принял переводчик.

В 1829 году, воодушевившись известием о намерении издавать «Литературную газету», сообщенном ему Дельвигом, Баратынский в письме Вяземскому из Мары красноречиво обещает: «Что бы вы ни издавали, прошу почитать меня вашим сотрудником, малосильным, но усердным». Характерно в связи с этим письмо Вяземского из Петербурга к жене от 20 марта 1830 года: «Что слышно о Баратынском? Пушкину надобно написать к нему и заставить его непременно работать прозою для газеты. Нужно нам поддержать ее плечами нашими».

Сохранилось 20 писем Баратынского к Вяземскому. В них он делится с другом новостями литературными и житейскими, размышляет о различных вопросах современной литературы и критики, сообщает о творческих замыслах. Это всегда разговор двух единомышленников, что не раз подтверждалось и литературной

практикой, людей, искренне болеющих за развитие отечественной культуры, радующихся ее успехам и с негодованием отвергающих ремесленнические поделки. Весьма показательным штрихом к их взаимоотношениям могут служить строки из письма Баратынского Пушкину в январе 1826 года: «Я часто вижу Вяземского. На днях мы вместе читали твои мелкие стихотворения, думали пробежать несколько пьес и прочли всю книгу».

Всегда высоко, начиная с первого знакомства, отзывался о Баратынском и Вяземский. В письме к Пушкину в мае 1826 года он признается: «Я сердечно полюбил и уважил Баратынского. Чем более растираешь его, тем он лучше и сильнее пахнет. В нем, кроме дарования, и основа плотная и прекрасная». Дорогого стоит и такая характеристика в письме А. И. Тургеневу от 15 октября 1828 года: «Чем более вижусь с Баратынским, тем более люблю его за ум, удивительно тонкий и глубокий, раздробительный. Возьми его врасплох, как хочешь; везде и всегда найдешь его с новою, своей мыслью, с собственным воззрением на предмет». Или в письме тому же адресату от 1 января следующего года: «Чем более знаю Баратынского, тем более ценю его ум и сердце... Он, без сомнения, одна из самых открытых голов у нас: солнце так и ударяет в нее прямо».

В 1834 году Баратынский написал проникновенное послание «Князю Петру Андреевичу Вяземскому», которое было напечатано впервые через два года в журнале «Современник», издававшемся Пушкиным. Это стихотворение открыло впоследствии сборник «Сумерки», посылая который Вяземскому поэт просит принять свой труд «с обычным вашим благоволением к автору». Именно к нему — «Звезде разрозненной плеяды!» — чаще всего в конце жизни обращал свои взоры Баратынский и благодарил за добро и поддержку:

Ищу я вас; гляжу: что с вами?
Куда вы брошены судьбами,
Вы, озарявшие меня
И дружбы кроткими лучами
И светом высшего огня?[1]

[1] Баратынский, бывший на восемь лет моложе Вяземского, несмотря на близкую дружбу и в стихах и в письмах неизменно обращался к нему на «вы».

До конца своих дней Вяземский хранил братскую любовь к другу-поэту, который и для него, потерявшего с годами всех друзей и единомышленников, живущего воспоминаниями о прошедшем, всегда оставался такой же «Звездой разрозненной плеяды». Переживший практически всех своих современников, Вяземский числил себя, как он сам выразился в речи на торжественном обеде, устроенном в его честь после возвращения в Москву из Константинополя, «одним из уцелевших обломков старой, т. е. допожарной, Москвы», перед глазами которого прошли многие поколения русских писателей. И среди дорогих имен Карамзина, Дмитриева, Нелединского, Дениса Давыдова, Жуковского, Батюшкова, Пушкина, Языкова назвал Баратынского[1]. В 1854 году в стихотворной «Литературной исповеди» Вяземский, говоря о высоте творческих критериев прошлого и перечисляя былых соратников, вновь ласково и уважительно припомнил его в знаменательном ряду:

Доволен я собой и по сердцу мне труд,
Когда сдается мне, что выдержал бы суд
Жуковского; когда надеяться мне можно,
Что Батюшков, его проверив осторожно,
Ему б на выпуск дал свой ценсорский билет;
Что сам бы на него не наложил запрет
Счастливый образец изящности Афинской
Мой зорко-сметливый и строгий Баратынский;
Что Пушкин, наконец, гроза плохих писак,
Пожав бы руку мне, сказал: «вот это так!»

Сложные чувства, видимо, пережил Вяземский и в 1869 году, когда через 25 лет после кончины Баратынского в Москве вышло первое посмертное собрание его сочинений с приложением писем и биографических сведений, подготовленное детьми поэта. Семидесятисемилетний патриарх был, наверное, одним из немногих, кто с волнением раскрывал этот томик. Вновь воспоминания и горечь утрат посетили его, испытавшего, по собственным словам, глубоко объем-

---

[1] Находясь в Иерусалиме, Вяземские 12 мая 1849 года заказали на Голгофе обедню за упокой родных и близких: в их поминальном списке среди имен Пушкина, Дениса Давыдова, Карамзина, М. Ф. Орлова, В. Л. Пушкина, Ю. А. Нелединского-Мелецкого, Д. В. Дашкова, И. И. Дмитриева, А. И. Тургенева значится и Баратынский.

лющее душу наслаждение от чтения стихов далекого и такого близкого поэта. Сохранился набросок так и ненаписанной статьи о Баратынском, которая наверняка бы приблизила читателей последней трети XIX века к творчеству одного из лучших писателей его начала. «Как непонятна и смешна в наше время была сентиментальная проза Карамзина, — признавался Вяземский, — так равно покажется странным и совершенно отсталым движением обращение мое к поэту, ныне едва ли не забытому поколением ему современным и, вероятно, совершенно незнакомому поколению новейшему». И с грустью добавлял: «Баратынский и при жизни и в самую пору поэтической своей деятельности не вполне пользовался сочувствием и уважением, которых был он достоин».

В конце жизни, стремясь удержать в слове воспоминания о былом, Вяземский пишет целый ряд «биографических, характеристических, литературных и житейских» заметок, которые публикует анонимно в журнале «Русский архив» и сборнике «Девятнадцатый век» под общим названием «Старая записная книжка». В одной из этих заметок, посвященной А. И. Тургеневу, припоминая «светлые имена» прошлого, он, естественно, называет и Баратынского. И не просто называет, но рисует его развернутый психологический портрет, столь своеобразный, исторически точный и объемный, что без знакомства с ним, думается, нельзя в полной мере судить об отношении Вяземского к другу. Да и нам сегодня эти зарисовки много дают для понимания реального облика поэта.

«Баратынский, — считает Вяземский, — никогда не бывал пропагандистом слова. Он, может быть, был слишком ленив для подобной деятельности, а во всяком случае слишком скромен и сосредоточен в себе. Едва ли можно было встретить человека умнее его, но ум его не выбивался наружу с шумом и обилием. Нужно было допрашивать, так сказать, буравить этот подспудный родник, чтобы добыть из него чистую и светлую струю. Но зато попытка и труд бывали богато вознаграждаемы. Ум его был преимущественно способен к разбору и анализу. Он не любил возбуждать вопросы и выкликать прения и словесные состязания; но зато, когда случалось, никто лучше его не умел верным и метким словом порешать суждения и выражать окон-

чательный приговор и по вопросам, которые более или менее казались ему чужды, как например, вопросы внешней политики или новой немецкой философии, бывшей тогда коньком некоторых из московских коноводов. Во всяком случае, как был он сочувственный, мыслящий поэт, так равно был он мыслящий и приятный собеседник. Аттическая вежливость с некоторыми приемами французской остроты и любезности, отличавших прежнее французское общество, пленительная мягкость в обращении и в сношениях, некоторая застенчивость при уме самобытном, твердо и резко определенном, все эти качества, все эти прелести придавали его личности особенную физиономию и утверждали за ним особенное место среди блестящих современников и совместников его».

...Переселяясь в Москву, Баратынский опасался, что здешняя атмосфера не будет благоприятна для творчества. Помните, что он писал Путяте осенью 1825 года? «Прощай свобода, прощай поэзия!» Но, как мы знаем, эти пророчества, к счастью, не оправдались. Несмотря на многочисленные домашние заботы Баратынский остался в поэтическом строю, искренне и честно служа музам отнюдь не в чине рядового. Реальная обстановка духовной жизни Москвы и круг новых литературных знакомых, о которых мы говорили чуть выше, непрерывающаяся дружба со святым поэтическим братством, ослабленная расстоянием, но и в письмах и в коротких встречах питающая внутренние силы поэта, возродили его к творческой деятельности.

В московский период поэтом написано не так много, как хотелось бы современникам и нам, сегодняшним читателям. Но на то есть разные причины. Баратынский чрезвычайно требовательно относился к чужим и особенно собственным творениям. Много раз переправлял только выходящее из-под пера и давно написанное. Постоянно искал те единственные слова, которые могут в точности передать поэтический замысел. Знаменательно его замечание из критической статьи «Таврида А. Муравьева», напечатанной в 1827 году в журнале «Московский телеграф»: «Истинные поэты потому именно редки, что им должно обладать в то же время свойствами, совершенно противоречащими друг другу: пламенем воображения творческого

и холодом ума поверяющего. Что касается до слога, надобно помнить, что мы для того пишем, чтобы передавать друг другу свои мысли; если мы выражаемся неточно, нас понимают ошибочно или вовсе не понимают: для чего же писать?» Этот вопрос всегда был в голове и сердце Баратынского, выпускающего в жизнь очередное свое творение.

Кроме того, по характеру дарования он не был плодовитым поэтом. Замыслы долго вынашивались, начатое нередко откладывалось. По складу своему Баратынский из тех истинных поэтов, которые берутся за перо лишь тогда, когда действительно должны высказаться, когда не могут молчать. Но зато произведения его зрелы и совершенны, в них всегда просвечивает оригинальная мысль, выраженная чистыми и сильными стихами. Не случайно Пушкин как-то, полушутя, заметил о поэме Баратынского «Эда»: «Стих каждый в повести твоей Звучит и блещет, как червонец...»

Эти причины, так сказать, внутренние, но были и внешние, общие для многих дворян-литераторов. Большинство из них занималось литературою как бы между дел, не регулярно, не для заработка. Будучи профессиональными писателями, обладающими талантом и мастерством, они не были профессионально, т. е. постоянно пишущими. И прав был журналист и писатель Н. А. Мельгунов, говоря, что «литературные аристократы» сочиняют очень мало, «чуть не по 90 строчек в год, тогда как промышленники — по 90 листов в месяц». Понимали это и сами писатели-дворяне, в конце 30-х — начале 40-х годов много говорившие о необходимости создания взамен «Московского телеграфа» и «Московского вестника», не оправдавших их надежд, собственных печатных органов, которые могли бы противостоять как реакционно-охранительной журналистике в лице Булгарина и Греча, так и буржуазно-демократическим изданиям. Ими стали «Литературная газета» Дельвига и пушкинский «Современник».

Понимал ситуацию и Баратынский. Вот пример его «агитации» единомышленников из письма к Вяземскому: «Против партий должно действовать партиями. Составим свое общество, призовем всех людей с дарованием и будем издавать труды его ежегодно, еже-

месячно, как придется. Мы теряем потому, что мы ленивы, а противники наши деятельны. На публику действует не качество, а количество произведений. Все ее мнения похожи на мнения религиозные. Они впечатляются повторением, а не убеждением. Одним словом, надобно действовать».

И Баратынский действовал. Довольно активно, живя в Москве, он печатался в здешних и петербургских журналах и альманахах. Помимо стихотворений и эпиграмм, публиковал в них отрывки из своих поэм. В 1826 году в Петербурге отдельным изданием вышли «Эда, финляндская повесть и Пиры, описательная поэма Евгения Баратынского». Через два года под одной обложкой там же изданы «Две повести в стихах», составленные из «Графа Нулина» Пушкина и «Бала» Баратынского. В 1831 году в Москве увидело свет отдельное издание поэмы «Наложница» с обширным предисловием, в котором в концентрированном виде были высказаны принципиальные взгляды поэта на современную литературу и призвание художника слова.

Но, конечно, наиболее значительным событием для поэта в конце 20-х годов стало издание в 1827 году «Стихотворений Евгения Баратынского». В сборник вошло лучшее, что было создано им за недолгую поэтическую жизнь. Он состоял из трех «книг» элегий, разделов «Смесь» и «Послания» и строился по жанровому принципу. Такое построение было принятым тогда — взять хотя бы «Опыты в стихах и прозе К. Батюшкова» (1817) или «Стихотворения Александра Пушкина» (1826). Сборник открывался элегией «Финляндия», с которой, как мы знаем, началась настоящая литературная популярность и известность Баратынского. Затем — в первой «книге» — шли элегии с подчеркнуто философским содержанием: «Водопад», «Истина», «Череп», «Рим», «Родина», «Две доли», «Буря». Во вторую «книгу» элегий вошли «Разлука», «Ропот», «Падение листьев» и другие, в которых общие проблемы бытия рассматриваются сквозь призму разнообразия человеческих чувств и настроений. Здесь же находилось знаменитое «Разуверение», положенное в 1825 году на музыку М. И. Глинкой и ставшее популярным романсом. Одиннадцать элегий включено в третью «книгу».

В разделе «Смесь» напечатано несколько эпиграмм, стихотворений «в альбом», а также произведений, по жанру своему тяготеющих к элегиям и посланиям. В последний раздел сборника включены послания Гнедичу, Пономаревой, Дельвигу, Давыдову, Кюхельбекеру, Богдановичу, Лутковскому, Коншину, с которыми мы уже знакомились, говоря о том или ином этапе биографии Баратынского.

Замысел этого сборника возник у поэта еще давно, в 1823 году, когда он находился в Финляндии. Но, естественно, что сам Баратынский, оторванный от живой литературной и издательской жизни, осуществить его не мог, а потому обратился к «милым собратьям» Бестужеву и Рылееву, издателям «Полярной звезды», с просьбой о содействии. 5 сентября Бестужев сообщил Вяземскому: «Здесь был Баратынский, у которого мы купили его сочинения за 1000 рублей». Весной 1824 года поэт направил своим будущим издателям письмо, в котором делился с ними размышлениями о характере сборника: «Возьмите на себя, любезные братья, классифицировать мои пьесы. В первой тетради они у меня переписаны без всякого порядка, особенно вторая книга элегий имеет нужду в пересмотре; я желал бы, чтобы мои пьесы по своему расположению представляли некоторую связь между собою, к чему они до известной степени способны... О други и братья! постарайтесь в чистеньком наряде представить деток моих свету, —книги, как и людей, часто принимают по платью».

Однако по ряду причин это издание не удалось. Рылеев и Бестужев много времени отдавали выпуску «Полярной звезды», в которой, как мы знаем, сотрудничал и Баратынский. Главной целью альманаха было формирование общественно-литературных взглядов в духе декабризма. Издателей больше интересовал выпуск поэтических сборников, подобных «Думам» самого Рылеева, т. е. имеющих явную политическую и агитационную окраску. Баратынский был для них, условно говоря, «свой», но не «наш», и потому они, видимо, не преуспев в попытках переориентировать его творчество на пути прямого декабризма, охладели к идее подготовки книги. Об этом прямо писал Бестужев Пушкину, говоря, что перестал веровать в талант Баратынского. Да и последовавшие вскоре по-

литические события не благоприятствовали осуществлению замысла.

Живя в Москве, Баратынский не оставил мысли о сборнике, материал для которого заметно увеличился и окреп. И он обратился за помощью к известному журналисту, издателю «Московского телеграфа» Н. А. Полевому. Поэт благодаря Вяземскому сотрудничал в этом журнале, Полевой в то время был еще далек от разрыва с дворянскими писателями и сближения с Булгариным и Гречем — и предприятие блестяще удалось. Об этом свидетельствует, в частности, благодарственное письмо Полевому, посланное в ноябре 1827 года Баратынским из Мары. «Издание прелестно, — считает поэт. — Без вас мне никак бы не удалось явиться в свет в таком красивом уборе. Много, много благодарен». Прося Полевого о пересылке части тиража Дельвигу и передаче отдельных экземпляров Вяземскому, Дмитриеву, Погодину и другим адресатам, Баратынский высказывает своеобразное пожелание: «...Ваш крепостной экземпляр удостойте поставить в вашей библиотеке между Батюшковым и В. Л. Пушкиным». Эта скромная самооценка в какой-то мере предвосхитила мнение Пушкина, писавшего в неоконченной статье о поэте в 1830 году: «Время ему занять степень, ему принадлежащую, — и стать подле Жуковского и выше певца Пенатов и Тавриды», т. е. Батюшкова.

Издание сборника было с восторгом встречено единомышленниками Баратынского, в первую очередь Пушкиным. Он начал писать рецензию, предназначавшуюся, видимо, для «Московского вестника», но, к сожалению, не закончил. И все же главное сказано было: «Наконец появилось собрание стихотворений Баратынского, так давно и с таким нетерпением ожидаемое. Спешим воспользоваться случаем высказать наше мнение об одном из первоклассных наших поэтов и (быть может) еще не довольно оцененном своими соотечественниками. Первые произведения Баратынского обратили на него внимание. Знатоки с удивлением увидели в первых опытах стройность и зрелость необыкновенную. Сие преждевременное развитие всех поэтических способностей, может быть, зависело от обстоятельств, но уже предрекало нам то, что ныне выполнено поэтом столь блистательным образом. Пер-

вые произведения Баратынского были элегии, и в этом роде он первенствует...» Как значимо здесь каждое слово, как видна душевная приближенность критика к поэту, как, наконец, высока и щедра оценка его таланта!

Полное признание высказал и талантливый критик О. М. Сомов, в 1829—1831 годах ближайший помощник Дельвига по изданию «Северных цветов» и «Литературной газеты»: «Стихотворения Баратынского удовлетворяют всем требованиям самых разборчивых любителей и судей поэзии; в них найдешь все совершенства, достающиеся в удел немногим истинным поэтам: и пламенное воображение, и отчетливость в создании, и чистоту языка, и прелестную гармонию стихов». И даже Булгарин, бывший с середины 1820-х годов злейшим противником пушкинского круга в целом и Баратынского, который писал на него разящие эпиграммы, в частности, отзываясь на выход сборника, вынужден был признать, что Баратынский «бесспорно принадлежит к малому разряду отличных элегических поэтов не только в России, но и в других странах». Казалось, признание полное и всецелое. С чем тут можно спорить?

Но были отзывы и иного свойства. На страницах «Московского вестника» в №1 за 1828 год появилась статья С. П. Шевырева, который неодобрительно отнесся к стихам Баратынского. Шевырев являлся поклонником новой немецкой философии, которой увлекалась московская молодежь, и примыкал к «любомудрам». В стихах Баратынского, воспитанного прежде всего на французской литературе, критик как раз и углядел «заметное влияние французской школы», что и поставил ему в вину. Это была первая ласточка будущих серьезных расхождений поэта с московскими литераторами, приведших в результате к полному разрыву. Петербургские друзья восприняли выступление Шевырева с негодованием. «Шевыреву пишу особо, — замечает Пушкин в письме Погодину 19 февраля 1828 года. — Грех ему не чувствовать Баратынского — но бог ему судья». Недовольство Шевыревым и Погодиным, поместившим в своем журнале его рецензию, выражает и Дельвиг в письме к Баратынскому: «Не худо сказать им, что, с должным почтением не оценив отживших и современных писателей, нель-

зя кидать взора на будущее, или он будет не дальновиден».

Разочарован отзывом Шевырева и сам Баратынский, два года назад в письме к Пушкину рекомендовавший метру русской литературы стихотворение «Я есмь» двадцатилетнего начинающего поэта и теперь получивший от него удар в спину. Но в этом разочаровании, что всегда характерно для Баратынского, не было уязвленности самолюбия или обиды от неблагодарности. Как и Пушкин, чувствуя, что на смену прежнему «золотому веку» литературы, детьми которого они оба были, идет литература новая, что нарождается иной читатель, не столь, как прежде, осведомленный в словесности, что усилия промышленников от литературы приносят уже горькие плоды во вкусах читательских, Баратынский стремится широко осмыслить ситуацию и указать ее истоки. И потому его оценка происходящего, глубоко, как мы еще увидим, запавшая Пушкину в память, есть своего рода хирургический срез современного литературного процесса и иронический анализ читательских пристрастий.

«Вышли у нас, — пишет в конце февраля или начале марта 1828 года Баратынский из Москвы в Петербург, — еще две песни «Онегина». Каждый о них толкует по-своему: одни хвалят, другие бранят, и все читают. Я очень люблю обширный план твоего «Онегина»; но большее число его не понимает. Ищут романтической завязки, ищут обыкновенного и, разумеется, не находят. Высокая поэтическая простота твоего создания кажется им бедностью вымысла, они не замечают, что старая и новая Россия, жизнь во всех ее изменениях, проходит перед их глазами...[1] Я думаю, что у нас в России поэт только в первых, незрелых своих опытах может надеяться на большой успех. За него все молодые люди, находящие в нем почти свои чувства, почти свои мысли, облеченные в блистательные краски. Поэт развивается, пишет с большою обдуманностью, с большим глубокомыслием;

[1] Это тонкое и точное соображение замечательно и тем, что во многом предвосхищает оценки Белинского, называвшего пушкинский роман «энциклопедией русской жизни», и Достоевского, считавшего «Евгения Онегина» поэмой «осязательно реальной, в которой воплощена настоящая русская жизнь с такою творческой силой и с такой законченностью, какой не бывало до Пушкина, да и после его, пожалуй».

он скучен офицерам, а бригадиры с ним не мирятся, потому что стихи его все-таки не проза. Не принимай на свой счет этих размышлений: они общие».

Каково же собственно литературное значение собрания стихотворений Баратынского, изданных в 1827 году? Прежде всего оно в том, что собранные вместе произведения поэта позволили и читателям, и критикам, и ему самому отчетливо увидеть, какой огромный художественный труд проделан за какие-то восемь лет с начала творческой деятельности. И дело тут, конечно, не в количестве написанного, а в тех качественных изменениях, которые отличают первые, порой незрелые, ученически-подражательные опыты — пробы пера от серьезных поэтических раздумий сложившегося мастера. За прошедшие годы муза Баратынского заметно посерьезнела, беззаботность и легкость юношеских суждений сменилась пристальным вниманием к тончайшим изгибам человеческой души, наивные сетования на несправедливость жизни уступили место глубокому пониманию взаимообусловленности всего живого и подчиненности неумолимым законам судьбы. Одним словом, поэзия Баратынского со временем все более стала приобретать те неповторимые черты, которые и составили ее «лица необщее выраженье», но не сразу были обретены.

Наиболее явственно эти изменения проявились в элегиях Баратынского — в том жанре, в котором он, по выражению Пушкина, «первенствовал». Поговорим о них чуть подробнее, ибо факт этот общезначим и для самого Баратынского, и для литературных процессов времени.

Жанр элегии, сам по себе для русской поэзии не новый — взять хотя бы В. К. Тредиаковского или А. П. Сумарокова, не говоря уже о Н. М. Карамзине, — в первой трети XIX века стал своеобразным знаменем нарождающегося романтизма, его программным выражением. Романтическая элегия в ту эпоху явилась, по слову авторитетного пушкиниста Б. В. Томашевского, «средством выражения чувствований нового человека», а элегический тон — господствующим в творчестве писателей-романтиков, видевших в отдельном грустном событии проявление несправедливости общего мироустройства. И первенствовал здесь Жуковский, «этот литературный Коломб, открывший Америку романтиз-

ма в поэзии» и первый на Руси, как заметил Белинский, выговоривший «элегическим языком жалобы человека на жизнь».

В творчестве Жуковского и Батюшкова, а несколько позднее Пушкина и Баратынского элегия как литературный жанр, как форма романтического мировосприятия получила полное развитие и стала вершиной художественных достижений времени. Но — в литературе, как и в жизни, все взаимосвязано: хорошее с плохим! — многочисленные их подражатели довели элегическое высказывание до уровня общих мест, поэтических штампов, доступных всякому гладкописцу, лишенному истинного вдохновения. Элегия оказалась в какой-то мере опороченной, и вокруг нее в первой половине 1820-х годов развернулась острая дискуссия, отзвуки которой мы уже видели в строках из послания Баратынского «Богдановичу» (1824) и его письма об «элегических куку» Пушкину (1826).

Объективный упрек критиков современной элегии был направлен не против корифеев (Жуковского, Батюшкова. Пушкина, Баратынского), хотя в пылу спора досталось и им, но против их маломощных последователей и эпигонов, буквально наводнивших журналы и альманахи «туманными» стихами. Самой сильной репликой в споре стала полемическая статья В. К. Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие», напечатанная в 1824 году в журнале-альманахе «Мнемозина». «Чувств у нас, — несколько задиристо заявил Кюхельбекер, выступивший с позиций литератора-декабриста и противопоставивший элегии оду как жанр, обладающий значительным гражданско-патриотическим и морально-воспитательным потенциалом, — уже давно нет: чувство уныния поглотило все прочие. Все мы взапуски тоскуем о своей погибшей молодости, до бесконечности жуем и пережевываем эту тоску и наперерыв щеголяем своим малодушием в периодических изданиях». Какое стихотворение ни возьми, считает критик, везде одно и то же — картины неестественные, приблизительные, безвкусные и всюду «туман: туманы над водами, туманы над бором, туманы над полями, туман в голове сочинителя».

С близких Кюхельбекеру идейных позиций против «унылой» элегии годом раньше с серией статей, объе-

диненных в трактат «О романтической поэзии», опубликованный в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения», выступил журналист и критик декабристской ориентации О. М. Сомов. Характеризуя состояние отечественной поэзии, он замечал: «Все роды стихотворений теперь слились почти в один элегический: везде унылые мечты, желание неизвестного, утомление жизнью, тоска по чем-то лучшем — выраженные непонятно и наполненные без разбору словами, схваченными у того или другого из любимых поэтов».

В полемику, по-разному, с собственных позиций толкуя эту социально-литературную ситуацию, в основе которой лежали вопросы общего состояния отечественной словесности, включились многие писатели. Споров было предостаточно. Далеко не все положения статьи Кюхельбекера разделялись и его единомышленниками, и поэтами иной художественной ориентации. Но главная мысль, так или иначе высказанная с различных сторон, явилась, бесспорно, плодотворным толчком литературного развития. То было требование самобытности русской поэзии, ее национального своеобразия, опоры на собственную культурно-историческую основу, отхода от заемных — немецких и французских — образцов, требование новизны и оригинальности творческого труда. Вывод важнейший, отвечающий настроениям всех талантливых русских писателей.

Включился в полемику и Баратынский — тем более, что его имя упоминалось спорящими часто. Он решительно поддержал противников «унылой» элегии и со свойственной ему самокритичностью отнес многие упреки в свой адрес. Строгий судья собственных творений, Баратынский, говоря его же словами из письма к Пушкину, еще прежде «спохватился» и настойчиво и последовательно очищал свои стихи от общих мест и выражений, стремился в них к правдивости описаний и точности мысли и слова. Мы уже говорили о качественном отличии его произведений финляндского периода от написанных ранее. В знаменитых психологических и философских элегиях «Финляндия», «Истина», «Череп», «Разуверение», «Уныние», «Ропот», «Безнадежность» и других, включенных поэтом в сборник 1827 года, это отличие проявилось в полной мере. Недаром в послании «Богдановичу», также

помещенном в первом собрании, Баратынский, пожалуй, даже с некоторым вызовом провозгласил свое поэтическое кредо: «Я правды красоту даю стихам моим... Что мыслю, то пишу».

Ближе всего Баратынскому в спорах вокруг элегической поэзии была критика подражательства и эпигонства, подлинного бича литературы тех лет. «Подражатель есть раб своего образца», — считал Сомов. Еще точнее говорил Кюхельбекер: «Подражатель не знает вдохновения: он говорит не из глубины собственной души, а принуждает себя пересказать чужие понятия и ощущения». Требование творческой самостоятельности являлось одним из краеугольных камней, на которых стоял Баратынский как поэт, как мыслитель. И потому со всей страстью выступал он против притворщиков от поэзии, чей «плач подражательный досаден, Смешно жеманное вытье!»[1] («Подражателям», 1829). Когда истинный поэт вдохновлен печалью и складывает свою песнь, считает Баратынский, он постигает «таинства страданья» и выражение его покупает ценою «сердечных судорог». Не то — подражатели:

> А ваша муза площадная,
> Тоской заемною мечтая
> Родить участие в сердцах,
> Подобна нищей развращенной,
> Молящей лепты незаконной
> С чужим ребенком на руках.

Именно с этих позиций оценивал Баратынский свое творчество, порой с болезненной настойчивостью стремясь даже в поэтических мелочах быть непохожим на других и идти собственным путем, что прямо декларировал в прозаических предисловиях к поэмам «Эда» и «Наложница», в критических статьях (особенно в «Антикритике», где защищал свое кредо «что истинно, то нравственно» от нападок Н. И. Надеждина), в письмах к друзьям. Точно так же подходил он и к произведениям других, например Адама Мицкевича, к которому после выхода в 1828 году поэмы «Конрад Валленрод», отмеченной сильным влиянием Байрона,

---

[1] Эта строка, видимо, выросла из строки «Вытье жеманное поэтов наших лет», бывшей в первой редакции послания «Богдановичу».

обратился со стихотворением «Не подражай: своеобразен гений...».

Истина в чувствах, по Баратынскому, требует истинности в выражениях. Высокие требования к точности поэтического слога, стремление к единству сути и формы были не только последовательно воплощены Баратынским в лучших стихотворениях сборника 1827 года, но и четко сформулированы во многих письмах и критических заметках разных лет. Это верное свидетельство того, что творческая эволюция была не просто фактом художественного развития, не только осознавалась поэтом, но и теоретически осмыслялась, приобретая вид своеобразной эстетической концепции, творческой программы.

Точность выражения Баратынский понимал как предельное соответствие поэтической мысли поэтическому слову. Так, в известном уже нам письме к Пушкину, рекомендуя стихотворение молодого Шевырева «Я есмь», он оговаривается: «Слог не всегда точен, но есть поэзия...» А в благодарственном письме к Полевому, характеризуя «Евгения Онегина», восклицает: «Какой слог блестящий, точный и свободный! Это рисовка Рафаэля, живая и непринужденная кисть живописца из живописцев». Важно и замечание в статье «Таврида А. Муравьева»: «Г-н Муравьев поэт неопытный, но Поэт — и это главное. Во всех его пьесах небрежность слога доведена до крайности; но почти всегда ощутительно возвышенное вдохновение». Сходные критерии и для прозы. Вот впечатления от произведений молодого Гоголя из письма Ивану Киреевскому весной 1832 года: «Слог его жив, оригинален, исполнен красок и часто вкуса. Во многих местах в нем виден наблюдатель, и в повести своей «Страшная месть» он не однажды был поэтом».

Интересные практические примеры воплощения таких требований дает знакомство с копией идиллии Дельвига «Отставной солдат» (1829), правленной Баратынским. Все его замечания нацелены на сохранение верности в тоне рассказа и в передаче ситуации, на то, чтобы избежать неточных и несвойственных положениям оборотов и выражений — одним словом, на полное совпадение формы и содержания. Отсюда и характер замечаний: «изысканно», «не просто», «тон не русский, а греческий», «слишком возвышенно»... В том

же ключе вел Баратынский и переработку своих стихов, что можно проследить, сравнив журнальные публикации с вариантами и другими редакциями, вошедшими в окончательный текст сборника[1].

Стремление поэта к истинности в чувствах и выражениях находило поддержку и у его наиболее талантливых современников, особенно у Пушкина, быстрее, чем кто-либо, шедшего сквозь романтизм к реализму. В неоконченной статье «Бал» Баратынского» (1828) он отмечал в произведениях «нашего первого элегического поэта» «верность ума, чувства, точность выражения, вкус, ясность и стройность». В также незаконченной статье «Баратынский» (1830) писал о «гармонии его стихов, свежести слога и точности выражения». «Жизни исполненными» называл элегии Баратынского в статье «Сонеты Мицкевича» (1827) Вяземский. Иван Киреевский, говоря о поэте в «Обозрении русской словесности за 1829 год», спрашивал: «Даже в художественном отношении многие ли способны оценить вполне достоинство его стихов, эту точность в выражениях и оборотах...» Пушкин полностью разделил это мнение автора обозрения в статье «Денница. Альманах на 1830 год, изданный М. Максимовичем», напечатанной в №8 «Литературной газеты» за 1830 год. А в личном письме Киреевскому от 4 февраля 1832 года заметил, что элегии и поэмы Баратынского «точно ряд прелестных миниатюров», основные достоинства которых — «прелесть отделки, отчетливость в мелочах, тонкость и верность оттенков».

Самобытные элегии Баратынского с их ярко выраженной индивидуальностью, мотивированностью поэтических ситуаций, расширением и углублением тем и образов, сменой настроений, использованием стилистически оправданных средств выражения разрушили, наряду с пушкинскими элегиями, сами основы классического жанра. Элегия в том виде, в котором она существовала прежде — с заданностью темы и сопровождающей ее эмоции, авторской оценки и лирического сюжета, словоупотребления, уже не могла долее исправно служить поэзии. Потеряв условно поэтиче-

[1] Они обычно даются в примечаниях и комментариях к сборникам его стихотворений и поэм. Наиболее богато в этом отношении высокоавторитетное издание 1982 года.

ские приметы, она стала ближе к жизни, богаче и свободнее по содержанию и форме. А это значило, что романтическая элегия под пером Баратынского стала частицей многообразного процесса становления реалистической литературы.

Позднее творчество Баратынского пошло в целом по иному пути — его поэзия стала важнейшей вехой в развитии философского течения в русском романтизме. Но и в этом реалистичность ранних элегий оказала добрую помощь. Лирика Баратынского с годами все более освобождалась от традиционных жанрово-стилистических канонов, формировала собственную образность, свой — «метафизический» — язык, и тот общий процесс очищения от чужого, неорганичного и поэтически неоправданного, который свершился в элегиях, безусловно, пошел на пользу этому самоопределению. Конечно, у Баратынского и в ранних элегиях, и в поздней лирике была особая, нежели у других поэтов, прокладывавших пути к реализму, правдивость, особая конкретность. Это конкретность мысли, ее оттенков, конкретность философского суждения, выраставшего в общий вывод об устройстве мироздания. Это правдивость поэтического анализа жизненных ситуаций и состояний человеческой души, позволившая поэту в рамках традиционной элегии поставить центральную проблему реалистической литературы — «человек и обстоятельства», под его романтическим пером представшую в виде противостояния материального и духовного.

Да, важная оказалась книга, впервые собравшая под одну обложку стихи поэта, который, как неоднократно подчеркивал Пушкин, мало пользуется благосклонностью журналов и далеко еще не оценен критикой. Многое итожащая и еще большее обещающая. Именно она и стала настоящим свидетельством, что в России появился истинный поэт-философ, задумчивая муза которого способна удивить мир небывалыми откровениями. Поэт, идущий, опять же по слову Пушкина, «своею дорогой один и независим».

КАК МЛАДШИЙ К СТАРШЕМУ

Читатель, конечно, уже обратил внимание, что в наш рассказ о жизни и творчестве Баратынского

неизменно и необходимо вплетается имя его великого современника Александра Сергеевича Пушкина. В стихах, поэмах, прозе, критических статьях и заметках, письмах — всегда и везде помнит и думает Пушкин о Баратынском, дает оценки его творчеству, защищает от нападок недоброжелателей и литературных врагов, тревожится о судьбе друга и товарища по святому братству поэтов. То же и Баратынский, для которого гений Пушкина является путеводным маяком в жизни и поэзии, мерилом вдохновенного труда. Пушкин — особая страница биографии Баратынского, без которой она не может быть вполне узнана и понята. Естественно желание вчитаться в нее повнимательнее.

Баратынского и Пушкина познакомил, видимо, Дельвиг — еще в Петербурге, когда неудавшийся паж намеревался поступить рядовым на военную службу. Именно Пушкин был в центре тех молодых стихотворцев, которые, как мы знаем из письма Баратынского Жуковскому, сообщили ему «любовь свою к поэзии». Знакомство стремительно переросло в дружбу, крепкую и искреннюю, сохранявшуюся всю их жизнь.

В 1820 году друзья-поэты надолго расстались. Пушкин вынужден был уехать на юг, Баратынский — в Финляндию. Было нечто общее в их судьбе, и современники едино расценили отъезд обоих как изгнание. Долгих шесть лет не виделись Пушкин и Баратынский и встретились осенью 1826 года в Москве: один вернулся из Михайловского, другой — из Финляндии. Многое переменилось в жизни обоих, но главное — дружба — осталось в чистоте и неприкосновенности. Именно об этом мечтал Баратынский, еще в 1819 году в послании другу юности Креницыну воскликнувший: «О дружба нежная! останься неизменной! Пусть будет прочее мечтой!»

Все эти годы Пушкин и Баратынский и по почте, и через друзей, и в стихах сообщались друг с другом, вместе думали, обсуждали литературные и жизненные планы, делились замыслами, оценивали творческие свершения, неизменно радуясь удачам. История, увы, не сохранила писем Пушкина к другу и подарила нам лишь три письма Баратынского к нему. Но и в переписке обоих с иными адресатами чрезвычайно много упоминаний друг о друге, что показывает напол-

ненность их заочного диалога. Живая память о собрате по музам и товарище по взглядам зримо входила и в художественные произведения каждого. Перелистаем письма, перечитаем стихи и поэмы: послушаем голоса друзей.

Слово — Пушкину. Нам уже знакомо его письмо из Кишинева Вяземскому от 2 января 1822 года. Напомним главное в нем — ведь это первое упоминание имени Баратынского в переписке[1] Пушкина: «Но каков Баратынский? Признайся, что он превзойдет и Парни и Батюшкова — если впредь зашагает, как шагал до сих пор — ведь 23 года[2] счастливцу!» В письмах из Кишинева брату Льву 21 июля 1822 года и двух январских 1823 года, Гнедичу 27 сентября 1822 года — поклоны Дельвигу и Баратынскому, двум самым близким друзьям, обещания им написать, просьба, чтобы писали они, сетования, что Баратынский «ничего не печатает, а я читать разучусь» и что он «поскупился» стихами для «Полярной звезды» Рылеева и Бестужева на 1823 год, а «я надеялся на него». 13 мая 1823 года в письме Гнедичу — вновь жалоба, что нет сведений о Дельвиге и Баратынском, «но я люблю их и ленивых».

16 ноября того же года из Одессы — Дельвигу: «Разделяю твои надежды на Языкова и давнюю любовь к непорочной музе Баратынского. Жду и не дождусь появления в свет ваших стихов...» Из далекого Кишинева 1 сентября 1822 года Пушкин проницательно подсказывает Вяземскому: «Мне жаль, что ты не вполне ценишь прелестный талант Баратынского. Он более чем подражатель подражателей, он полон истинной элегической поэзии». Зрелое мнение Вяземского о поэте, нам уже известное, сложилось, как видим, при непосредственном участии Пушкина. Восторженные отзывы о поэзии друга шлет Пушкин из Одессы в Петербург и А. А. Бестужеву 12 января 1824 года после чтения «Полярной звезды» на

---

[1] Прочитав в десятом номере (вышел 5 марта) журнала «Сын отечества» за 1821 год стихотворение Баратынского «Лиде», Пушкин 3 апреля сделал в своем «кишиневском» дневнике запись: «Баратынский — прелесть».

[2] Пушкин ошибался — Баратынскому тогда не было еще и 22 лет, хотя ошибка характерная. Современники, например И. В. Киреевский, упорно считали их одногодками.

1824 год, где опубликованы элегии Баратынского «Признание», «Истина», «Рим» и другие: «Баратынский — прелесть в чудо, «Признание» — совершенство. После него никогда не стану печатать своих элегий...» Ему же 8 февраля при разборе состава альманаха: «Баратынский — чудо — мои пиесы плохи».

Из Михайловского Пушкин неоднократно пишет брату, чтобы тот прислал ему новую поэму Баратынского «Эда», даже грозится проклясть его за медлительность. Об этом — во многих ноябрьских и декабрьских письмах 1824 года. Показательная настойчивость, но не менее любопытно и другое. Поэма создана Баратынским в Финляндии осенью 1824 года, лишь 31 октября он сообщает А. И. Тургеневу, что написал «небольшую поэму» и хочет доставить ему «с нее список». А уже в первой половине ноября Пушкин, находясь в деревне, пишет брату как о чем-то давно условленном: «Что ж чухонка Баратынского? я жду». Какая прекрасная дружеская жажда!

Сам отторженный властями от полнокровной литературной и общественной жизни, Пушкин с глубокой заботой тревожится о судьбе друга, находящегося в финляндском изгнании. Вопросы о нем он постоянно задает брату в письмах зимой и весной 1825 года и благодарит его за полученный «отрывок» из письма Баратынского. А в конце мая — начале июня того же года в письме к А. А. Бестужеву, разбирая его статью «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 года», опубликованную в «Полярной звезде» на 1825 год, и утверждая мысль о том, что правительство обязано духовно и материально «ободрять» истинных писателей, Пушкин выстраивает ряд имен, составляющих, по его мнению, гордость отечественной литературы и поддержанных правительством: Державин, Дмитриев, Карамзин, Жуковский, Крылов, Гнедич... И добавляет с грустью: «Из неободренных вижу только себя да Баратынского и не говорю: слава богу!»

Как и многие писатели тех лет, Пушкин всегда высоко ставит критическое чутье и художественный вкус Баратынского, советуется с ним и ценит его мнение о собственных и чужих произведениях. Так, не принимая стихов Кюхельбекера о «великолепной, классической, поэтической Греции, Греции, где все ды-

шит мифологией и героизмом», написанных не соответствующими содержанию «славяно-русскими стихами, целиком взятыми из Иеремия», Пушкин в письме к брату 4 сентября 1822 года иронично спрашивает: «Что бы сказал Гомер и Пиндар?» — и уже с большей серьезностью добавляет: «Но что говорят Дельвиг и Баратынский?» Еще показательнее — черновик письма Пушкина к Плетневу, которому он поручил издание первой главы «Евгения Онегина», в октябре 1824 года: «Беспечно и радостно полагаюсь на тебя в отношении моего «Онегина»! — Созови мой Ареопаг, ты, Жуковский, Гнедич и Дельвиг — от вас ожидаю суда и с покорностью приму его решение. Жалею, что нет между вами Баратынского, говорят, он пишет».

Сам Пушкин был чрезвычайно внимателен к произведениям друга — охотно читал их, высказывался устно и печатно, всегда стремясь указать в первую очередь на то, что особенно удалось. Авторитетное свидетельство тому приводит первый биограф великого поэта П. В. Анненков в своих знаменитых «Материалах для биографии А. С. Пушкина», изданных в 1855 году и основанных на мнениях близко знавших Пушкина людей и глубоком изучении его творчества: «Три поэта составляли для него плеяду, поставленную им почти вне всякой возможности суда, а еще менее, какого-либо осуждения: Дельвиг, Баратынский и Языков. На Баратынского Пушкин излил, можно сказать, всю нежность своего сердца, как на брата своего по музе. Почти нельзя было сделать при нем ни малейшего замечания о стихах Баратынского, и авторы критик самых снисходительных на певца Эды принуждены были оправдываться пред Пушкиным, и словесно, и письменно».

Яркий пример — отношение к поэме «Эда», которую так нетерпелось прочитать Пушкину и которую ему наконец-то доставил в Михайловское Дельвиг[1]. 20 февраля 1826 года — в письме ему: «...Что за прелесть эта «Эда»! Оригинальности рассказа наши кри-

[1] Прислать поэму, судя по всему, Пушкин просил и в несохранившемся письме самому Баратынскому, который в декабрьском 1825 года ответе так объяснил свою медлительность: «Эду для тебя не переписываю, потому что она на днях выйдет из печати. Дельвиг, который в Петербурге смотрит за изданием, тотчас доставит тебе экземпляр...»

тики не поймут. Но какое разнообразие! Гусар, Эда[1] и сам поэт, всякий говорит по-своему. А описания лифляндской природы! а утро после первой ночи! а сцена с отцом! — чудо!» Об этом поэт в тот же день пишет в Тверь и П. А. Осиповой, пересылая ей книгу: «Вот новая поэма Баратынского, только что присланная мне Дельвигом; это образец грации, изящества и чувства. Вы будете от нее в восторге».

Пушкин, сообщая Дельвигу, что критики не поймут оригинальность «Эды», невольно оказался пророком. Через четыре года в набросках статьи о Баратынском, вновь восторгаясь поэмой, он обращается к читателям со словами, в которых сквозь легкую иронию просачиваются грусть и обида: «Перечтите его Эду (которую критики наши нашли *ничтожной*; ибо, как дети, от поэмы требуют они происшествий), перечтите сию простую восхитительную повесть...»

Имя Баратынского в эти разлучные для друзей годы часто встречается в поэтических созданиях Пушкина. В 1821 году в послании «Алексееву» он, уже знакомый с посланием Баратынского «К...ну», с какой-то ласковостью припоминает стихи друга:

> Прошел веселый жизни праздник;
> Как мой задумчивый проказник,
> Как Баратынский, я твержу:
> «Нельзя ль найти подруги нежной?
> Нельзя ль найти любви надежной?»

В 1822 году Пушкин, судя по всему, много и с удовольствием читавший в своем южном изгнании «певца Финляндии», к этому времени опубликовавшего в журналах свыше сорока стихотворений и поэму «Пиры», написал два послания Баратынскому — «Сия пустынная страна» и «Я жду обещанной тетради», в которых называет его «другом» и «милым трубадуром». Возможно, уже тогда Баратынский начал задумываться о собрании своих стихов и вносить их в отдельную тетрадь, которую позже — в 1823 году — передал для издания Рылееву и Бестужеву. Не исклю-

---

[1] Именем героини Баратынского Пушкин называет дворовую девушку Ольгу Калашникову в майском 1826 года письме к Вяземскому: «Видел ли ты мою Эду?» Точно так же именем цыганки Сары, героини поэмы Баратынского «Цыганка», Пушкин в письме к жене 22 сентября 1832 года назовет знакомую Нащокина цыганку Ольгу Андреевну.

чено, что первоначально он хотел показать эту тетрадь Пушкину, который и ответил стихотворением «Я жду обещанной тетради». Ведь просил же его Баратынский в декабрьском письме 1825 года не полениться «сделать для меня, что сделал для Рылеева», т. е. критически прочитать «Эду» и на полях или отдельно высказать все свои замечания[1]. Во всяком случае, сама настойчивость пушкинской просьбы, да и сам строй стихотворения говорят о том, что речь идет о весьма важном деле (а что важнее для поэта первого собрания его творений?):

Я *жду* обещанной тетради:
Что ж *медлишь*, милый трубадур!
Пришли ее мне, Феба ради,
И награди тебя Амур (курсив мой. — *П. С.*).

В 1822 году Пушкин пишет «Послание цензору», в котором с разящим сарказмом обращается к «угрюмому сторожу муз», своему «гонителю», цензору А. С. Бирукову, донимавшему его придирками к тексту поэмы «Кавказский пленник». Здесь он вновь вспоминает Баратынского, поэзию которого считает образцовой и ставит в пример. Среди упреков цензору — весьма важный для нашего разговора:

Ни чувства пылкие, ни блеск ума, ни вкус,
Ни слог певца «Пиров»,
Столь чистый, благородный, —
Ничто не трогает души твоей холодной.

Откликаясь поэтически на выход поэмы Баратынского «Эда», Пушкин слагает легкие и веселые стихи, в которых не только очень высоко оценивает создание друга, но и защищает его от нападок «зоила» — Булгарина, поместившего в «Северной пчеле» критический отзыв:

Стих каждый в повести твоей
Звучит и блещет, как червонец.
Твоя чухоночка, ей-ей,
Гречанок Байрона милей,
А твой зоил прямой чухонец.

---

[1] Пушкин прислал Рылееву весьма подробные и строгие соображения о поэме «Войнаровский». В июньском письме 1825 года Рылеев горячо благодарил «милого чародея» за «прямодушные замечания на Войнаровского».

Сравнивая стихотворение с суждениями Пушкина в письмах к Дельвигу и Осиповой, с его же мнением из неоконченной статьи «Баратынский», еще раз убеждаешься, что легкость и веселье не помешали поэту в пяти строках очень многое сказать точно и серьезно.

Хорошо известно, что Пушкин на полях своих рукописей часто рисовал тех, о ком думал во время работы, чьи образы прямо или косвенно были связаны с его поэтическими трудами. Среди рисунков — множество портретов пушкинских современников, друзей и знакомых. И конечно, Пушкин рисовал Баратынского. Впервые — в мае 1823 года, когда писал первую главу «Евгения Онегина»: на полях рукописи против 13-го и 14-го стихов III строфы. Второй раз — в январе 1824 года в черновике поэмы «Цыганы». Третий рисунок датируется сентябрем 1824 года[1] — тогда Пушкин работал над III главой «Евгения Онегина». Всю XXX строфу этой главы он посвятил другу, находившемуся в Финляндии:

Певец Пиров и грусти томной[2],
Когда б еще ты был со мной,
Я стал бы просьбою нескромной
Тебя тревожить, милый мой:
Чтоб на волшебные напевы
Переложил ты страстной девы
Иноплеменные слова.
Где ты? приди: свои права
Передаю тебе с поклоном...
Но посреди печальных скал,
Отвыкнув сердцем от похвал,
Один, под финским небосклоном,
Он бродит, и душа его
Не слышит горя моего.

В «Евгении Онегине» имя Баратынского встречается еще несколько раз. В XXX строфе IV главы поэт рассказывает о надоедливых дамских альбомах, грозе всех талантливых людей, украшенных «проворно

---

[1] Подробные сведения об этом заинтересованный читатель найдет в статье обстоятельного баратыноведа В. Г. Загвозкиной «Баратынский в рисунках Пушкина», помещенной во «Временнике Пушкинской комиссии» (Л., 1980. — С. 37—46).

[2] В авторских «Примечаниях к Евгению Онегину» Пушкин к этой строке дал прямую ссылку: «Е. А. Баратынский».

Толстого кистью чудотворной Иль Баратынского пером». А в III строфе V главы, описывая русскую зиму, сообщает, что в затейливости такой картины не намерен пока бороться ни с Вяземским, автором стихотворения «Первый снег», «ни с тобой, Певец финляндки молодой!». И вновь в примечаниях предлагает читателям образец: «См. описания финляндской зимы в «Эде» Баратынского». Наконец, к VII главе романа Пушкин в числе других эпиграфов помещает строку из поэмы Баратынского «Пиры»: «Как не любить родной Москвы!»

Как видим, в годы разлуки Пушкин постоянно — доброжелательно и заинтересованно — думает о друге, читает его, помнит. А что же Баратынский? Его пушкинский багаж, пожалуй, несколько поменьше, но столь же весом. В 1820 году, находясь в Финляндии, Баратынский написал небольшую, но яркую по мысли и выразительности поэму «Пиры», за что, как мы знаем, и получил от современников титул «певца Пиров». В ней очень точные по настроению свидетельства дружеского общения молодых поэтов в Петербурге конца 1810-х — начала 1820-х годов; их мысли, чувства, разговоры, сам дух этих встреч, на которых, по выражению Баратынского, «веки сердце проживало В немного пламенных часов». Один из главных героев поэмы — конечно, Пушкин, душа святого братства поэтов. Баратынский называет его «Пушкин наш» и прямо заявляет, что ему дано с великим искусством петь обо всем, «дано с проказливым умом Быть сердца верным знатоком».

Так сказано в поздней редакции поэмы, опубликованной в 1826 году вместе с «Эдой» отдельным изданием и вызвавшей многочисленные приветственные отклики. А в первоначальном варианте, напечатанном в 1821 году в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения» и менее знакомом широкому читателю, но хорошо известном друзьям поэта[1], характеристика Пушкина была еще колоритнее и выразительнее:

---

[1] 13 декабря 1820 года поэма была одобрена и «избрана» на заседании «Вольного общества любителей российской словесности». 28 февраля 1821 года там же «Пиры» читал в отсутствии Баратынского Н. И. Гнедич.

Ты, поневоле милый льстец,
Очаровательный певец
Любви, свободы и забавы,
Ты, Пушкин, ветреный мудрец,
Наперсник шалости и славы, —
Молитву радости запой,
Запой: соседственные боги,
Сатиры, фавны козлоноги
Сбегутся слушать голос твой,
Певца внимательно обстанут
И, гимн веселый затвердив,
Им оглашать наперерыв
Мои леса не перестанут.

Примечателен отклик А. А. Бестужева на эту публикацию: «Баратынский, по гармонии стихов и меткому употреблению языка, может стать наряду с Пушкиным».

Сходную с «Пирами» характеристику Пушкину дает Баратынский и в послании «Богдановичу». Перечисляя лучших современных поэтов — «любнмцев вдохновенья», которым, по его мнению, «бессмертие в веках» будет наградой, Баратынский вслед за «нежным Батюшковым» и «Жуковским живописным» называет друга: «Пушкин молодой, сей ветреник блестящий, Все под пером своим шутя животворящий...» Об этом стихотворении 10 сентября 1824 года Дельвиг писал Пушкину: «Послание к Богдановичу» исполнено красотами, но ты угадал: оно в несчастном роде дидактическом. Холод и суеверие французское пробивания кой-где. Что делать? Это пройдет! Баратынский недавно познакомился с романтиками, а правила французской школы всосал с материнским молоком».

Характерно, что уже в этих сравнительно ранних стихах Баратынский не только ставит Пушкина в первый поэтический ряд, но и считает его поэзию образцом. Недаром в одной из эпиграмм 1824 года, направленной против малозначительного поэта А. А. Шишкова, выпустившего в этом году сборник стихотворений «Восточная лютня», который отмечен, по выражению Н. А. Полевого, «неслыханным подражанием Пушкину», Баратынский с сарказ-

мом указывает на разницу между образцом и его жалким подобием:

Свои стишки Тощев-пиит
Покроем Пушкина кроит,
Но славы громкой не получит,
И я котенка вижу в нем,
Который, право, непутем
На голос лебедя мяучит.

Тот же мотив звучит и в более поздней «Исторической эпиграмме» Баратынского на издателя журнала «Вестник Европы» и критика романтизма М. Т. Каченовского. Говоря о трех поколениях романтических поэтов, бесивших «Лужницкого старца» (псевдоним Каченовского), Баратынский называет их вершины: Дмитриев, Жуковский, Пушкин. Кстати, объектами многих эпиграмм Пушкина и Баратынского и в эти годы и позже становились общие литературные недруги — Булгарин, Надеждин, Полевой, тот же Каченовский... Прекрасное единство мысли и слова!

Отношение к пушкинскому творчеству как к образцу, повторить который практически нельзя, отчетливо было заявлено Баратынским и в прозаическом предисловии к изданию поэмы «Эда». Сочинитель, отмечает он, «не принял лирического тона в своей повести, не осмеливаясь вступить в состязание с певцом Кавказского Пленника и Бахчисарайского Фонтана. Поэмы Пушкина не кажутся ему безделками. Несколько лет занимаясь поэзиею, он заметил, что подобные безделки принадлежат великому дарованию, и следовать за Пушкиным ему показалось труднее и отважнее, нежели итти новою, собственною дорогою».

Конечно, позиция Баратынского здесь не так проста, как может показаться с первого взгляда. Утверждая образец, он отстаивает и право на иной творческий путь, ибо, как говорится в этом же предисловии, «в поэзии две противоположные дороги приводят почти к той же цели: очень необыкновенное и совершенно простое, равно поражая ум и равно занимая воображение». Написав «простую» «Эду», Баратынский подчеркнул и теоретически, что ищет в поэзии иные пути, нежели те, к которым ведут «необыкновенные» поэмы Пушкина. К тому же в предисловии отчетливо

проявились его природная боязнь подражательства[1] и требование оригинальности и независимости художника. Тем не менее и здесь образцом вновь назван Пушкин.

Но особенно открыто признание этого прозвучало в письме Баратынского к Пушкину в первой половине декабря 1825 года: «Чудесный наш язык ко всему способен; я это чувствую, хотя не могу привести в исполнение. Он создан для Пушкина, а Пушкин для него... Иди, довершай начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи русскую поэзию на ту ступень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что он совершил один; а наше дело — признательность и удивление».

Именно в этом замечательном письме Баратынский впервые (но не в последний раз!) так реалистично и откровенно сказал, кто есть, по его мнению, Пушкин и кто есть он сам по отношению к Пушкину. Даже начало письма — веское тому подтверждение: «Благодарю тебя за письмо, милый Пушкин: оно меня очень обрадовало, ибо я очень дорожу твоим воспоминанием. Внимание твое к моим рифмованным безделкам заставило бы меня много думать о их достоинстве, ежели б я не знал, что ты столько же любезен в своих письмах, сколько высок и трогателен в своих стихотворных произведениях». Здесь же Баратынский просит друга не думать, что он до такой степени является «маркизом» в поэзии (припомним письмо Дельвига к Пушкину о послании «Богдановичу»), «чтобы не чувствовать красот романтической трагедии», и подробно объясняет Пушкину свое отношение к французским классикам и романтической литературе. И по тону письма, и по тщательности выбора слов и выражения мысли явно видно, что поэт знает о пушкинском отношении к «исфранцузившимся» (слово А. А. Бестужева о самом Баратынском) писателям и стремится объяснить свою настоящую творческую позицию.

И в самой этой просьбе, и в подробном — как правоверный, но проштрафившийся ученик учителю —

---

[1] В этом Баратынский прямо признавался в письме к И.И. Козлову от 7 января 1825 года, т. е. задолго до появления предисловия: «... Мне не хотелось идти избитой дорогой, я не хотел подражать ни Байрону, ни Пушкину...»

объяснении собственных литературных взглядов, и в благодарении за внимание к своим стихам, подчеркнуто названным «рифмованными безделками» по сравнению с «высотой» и «трогательностью» пушкинских стихотворных произведений, и в гимноподобной оценке гения Пушкина Баратынский, думается, совершенно сознательно и искренне обращается к другу как к Первому русскому поэту. Недаром появляется масштабное сравнение с деяниями Петра, недаром вроде бы ненароком обронена изумительная в своей сердечности фраза: «Пиши, милый Пушкин, а я в долгу не останусь, хотя пишу к тебе с тем затруднением, с которым обыкновенно пишут к старшим».

Пишущему биографию Баратынского трудно устоять перед искушением и не сообщить читателю об одном мемуарном свидетельстве, касающемся кануна личной встречи Пушкина и Баратынского в Москве осенью 1826 года. Воспринимать его как исторически достоверный факт нельзя: иных свидетельств нет. Но и отбрасывать не стоит: уж очень много здесь психологической правды. Судите сами. В «Воспоминаниях о Пушкине» А. П. Керн, написанных в конце 1850-х годов и опубликованных в 1859 году, есть указание, что Баратынский в числе друзей навещал ссыльного Пушкина в Михайловском. Возможно, за давностью лет мемуаристка просто ошибается — ведь, кроме Баратынского она называет Дельвига и Языкова, что соответствует истине, но не упоминает И. И. Пущина, так ярко описавшего свою поездку в знаменитых «Записках о Пушкине».

Что ж, если это и ошибка, то замечательная — Керн очень хорошо знала отношения Дельвига, Пушкина и Баратынского и, видимо, посчитала такой оборот весьма естественным.

Возможно, что она даже была в курсе намерений Баратынского поехать в Михайловское и, не имея точных сведений, решила, что оно осуществилось. Ведь писал же он Пушкину в декабре 1825 года: «Посетить тебя живейшее мое желание; но бог весть, когда мне это удастся. Случая же, верно, не пропущу. Покаместь будем меняться письмами». В любом случае для нас очевидно, что в годы разлуки Баратынский не только постоянно думал о Пушкине, внимательно читал его произведения, высоко ценил его как поэта, любил и

уважал как человека, но и страстно мечтал увидеть друга.

И вот встреча. Пушкин приехал в Москву в начале сентября 1826 года и остановился в гостинице «Европа» на Тверской. Через несколько дней его навестил Баратынский. Сюда в одно из сентябрьских свиданий он привез к Пушкину своего финляндского друга Н. В. Путяту, который впоследствии очень сблизился с великим поэтом.

Не раз Пушкин и Баратынский встречались у общих друзей и литературных знакомых. Например, на квартире у С. А. Соболевского, где, по слову хозяина, собирались «знаменитые мужи», где «болталось, смеялось, вралось и говорилось умно!». Тут Пушкин на одной из встреч, видимо, впервые в Москве читал недавно написанного «Бориса Годунова». Был Баратынский и на авторском чтении трагедии в доме Д. В. Веневитинова. Еще в разлуке, зная, что Пушкин пишет «Бориса Годунова», Баратынский писал другу о своем нетерпении познакомиться с пьесой: «Жажду иметь понятие о твоем Годунове... Что ты думаешь делать с Годуновым? Напечатаешь ли его, или попробуешь его прежде на театре? Смерть хочется его узнать». И вот теперь, услышав «Бориса Годунова» в исполнении автора, а читал Пушкин, как передают очевидцы, «чрезвычайно хорошо», Баратынский с восторгом в конце октября рассказывает в письме к А. А. Муханову об этом «чудесном произведении, которое составит эпоху в нашей словесности». Через пять лет, когда трагедия вышла из печати, он получил от автора экземпляр с надписью: «Баратынскому от А. Пушкина. Москва 1831 Янв. 12» (еще один знак верности отношений!).

Живя в Москве, Пушкин и Баратынский близко познакомились с молодыми литераторами, которые входили в круг Елагиных — Киреевских и увлекались «немецкой метафизикой», идеями «любомудрия». Они, к досаде Вяземского, издававшего «Московский телеграф», поддержали идею создания нового журнала, способного противостоять охранительно-торговой петербургской журналистике и оказывать благотворное влияние на просвещение публики. 24 октября Пушкин и Баратынский были на торжественном обеде, который устроил для своих сотрудников редактор толь-

ко что родившегося «Московского вестника» М. П. Погодин.

В начале ноября Пушкин уехал в деревню и вернулся к концу года. По приезде, 19 декабря, он поселился у Соболевского, где в числе других его часто навещал Баратынский. Не раз они встречались на знаменитых вечерах Зинаиды Волконской, есть свидетельства, что Пушкин бывал и в доме Баратынского.

В ту пору Москва восторженно приветствовала возвращение первого русского поэта — Пушкину аплодировали в театрах, на него указывали на улицах, в гостиных он был в центре внимания. И когда он появлялся где-нибудь в общественном месте с Баратынским, то современники, хорошо знавшие, что оба они на долгие годы были отторгнуты друг от друга и от общества, воспринимали эти публичные появления как нечто символическое. Вот один из примеров тому. Зимой 1826/27 года пятнадцатилетний Герцен и его двоюродная племянница Т. П. Кучина, в замужестве Пассек, известная впоследствии мемуаристка, автор воспоминаний «Из дальних лет», страстно желая видеть Пушкина, в один из вечеров пришли в Благородное собрание, где ждали поэта. «Мы были на хорах, — вспоминала Пассек, — внизу многочисленное общество. Вдруг среди него сделалось особого рода движение. В залу вошли два молодые человека, один — высокий блондин, другой — среднего роста брюнет, с черными курчавыми волосами и резко-выразительным лицом. Смотрите, сказали нам, блондин — Баратынский, брюнет — Пушкин. Они шли рядом, им уступали дорогу».

В пору пребывания Пушкина в Москве был создан первый после возвращения из ссылки портрет поэта. Произошло это благодаря Баратынскому. Французский художник Жан Вивьен, только что сделавший портрет Баратынского, по его просьбе запечатлел и Пушкина. На обороте пушкинского портрета, выполненного также итальянским карандашом и белилами, сохранилась надпись рукою А. Н. Баратынского, внука поэта: «Портрет, подаренный Пушкиным Евгению Абрамовичу Баратынскому. А. Баратынский». И несколько ниже: «Этот портрет заклеен в рамку (по преданию) собственноручно Алекс. Сергеевич. Пушкиным». Оба портрета дошли до нас и находятся

ныне в собрании Всесоюзного музея А. С. Пушкина в Ленинграде.

Весной 1827 года, незадолго до отъезда Баратынского с женой и новорожденной дочерью Александрой в Мару, друзья много времени проводят вместе. 15 мая на завтраке у Погодина они пишут эпиграмму на поэта-эпигона сентиментального толка и издателя салонного «Дамского журнала» П. И. Шаликова «Князь Шаликов, газетчик наш печальный...». 16 мая другую — «Журналист Фиглярин и истина», направленную против Булгарина. В тот же день на литературном вечере у Н. А. Полевого Пушкин, как мы помним, упросил Баратынского прочитать стихи «Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком...», сочиненные им и Дельвигом в Петербурге на заре молодости.

О близости поэтов ярко говорят и такие «отрицательные» факты. В «Воспоминаниях о Степане Петровиче Шевыреве» М. П. Погодин указал, что в период пребывания в Москве Пушкин и Баратынский «были не совсем еще обелены» во мнении властей, а потому он, «в качестве редактора журнала, боялся слишком часто показываться в обществе людей, подозрительных для правительства». Еще более выразительно донесение управляющего III Отделением фон Фока шефу жандармов Бенкендорфу от 13 июля 1827 года. Тайная полиция, следившая за графом Завадовским, отмечала всех, кто бывал у него в доме на Выборгской стороне в Петербурге. Среди прочих значился и Пушкин, посетители которого также интересовали жандармов. Так вот, в донесении Бенкендорфу в числе лиц, «обыкновенно» навещавших Пушкина, указан и «поэт Баратынский». Курьез в том, что Баратынский в это время с семьей безвыездно жил в деревне Мара далекой от Петербурга Тамбовской губернии и просто физически не мог бывать у Пушкина в столичной гостинице Демута. Стало быть, шпики дали промашку, но какую характерную. Видимо, и в их далеко не литературном сознании оба поэта были прочно связаны.

И вновь настала пора расставания. Пушкин — в Петербург, Баратынский — в Мару. Опять главной связующей друзей нитью становятся письма, переданные через третьи руки приветы и пожелания. А еще

творческая память, в орбите которой имя друга удерживается прочно и доброжелательно.

Первое слово, как всегда, за Пушкиным. В альманахе Дельвига «Северные цветы» на 1828 год были опубликованы пушкинские «Отрывки из писем, мысли и замечания», написанные во второй половине 1827 года, т. е. вскоре после того, как они с Баратынским расстались. Одна из заметок прямо-таки дышит теплом недавнего общения и говорит сама за себя: «Никто более Баратынского не имеет чувства в своих мыслях и вкуса в своих чувствах»[1]. В июле 1827 года Пушкин приступил к работе над романом «Арап Петра Великого», который остался незавершенным. К главам он приготовил эпиграфы и записал их на одном листе без указания какой куда относится. Среди прочих были строки из поэмы Баратынского «Пиры»: «Уж стол накрыт, уж он рядами Несчетных блюд отягощен». Правда, в сохранившийся текст романа этот эпиграф не вошел. В том же году в Михайловском Пушкин пишет «Послание Дельвигу», в котором, припоминая между строк стихотворение друга «Череп» (опубликованное в дельвиговских «Северных цветах» на 1825 год), дает ему выразительную характеристику: «Гамлет-Баратынский».

В стихотворном отклике (увы, незавершенном) Пушкина на первый сборник стихотворений Баратынского заключена высокая оценка его таланта:

О ты, который сочетал
С глубоким чувством вкус толь верный
И точный ум, и слог примерный,
О ты, который избежал
Сентиментальности манерной
И в самый легкий мадригал
Умел...

Мы уже не раз знакомились с пушкинскими замечаниями о «верности ума», высоком поэтическом

[1] К альманаху был приложен портрет Пушкина, гравированный Н. Уткиным с оригинала О. Кипренского. Именно о нем писал другу Баратынский в конце февраля — начале марта 1828 года: «Портрет твой в «Северных цветах» чрезвычайно похож и прекрасно гравирован. Дельвиг дал мне особый оттиск. Он висит теперь у меня в кабинете, в благопристойном окладе». Этот «особый оттиск» сохранился и находится ныне в собрании подмосковного музея Мураново.

чувстве, отчетливом художественном вкусе, «свежести слога» Баратынского. В стихах ли, в прозе ли, в отдельной фразе или в законченном фрагменте — всюду и всегда Пушкин с неизменной настойчивостью выделяет эти отличительные качества Баратынского. В какой-то мере его впечатления суммируют три критических статьи о поэзии Баратынского 1827, 1828 и 1830 годов, так и оставшиеся незаконченными. Невольно создается впечатление, что каждый раз, приступая к творческому портрету Баратынского, Пушкин так и не решился поставить «точку» и отдать на суд читателей. Баратынский и его творчество были слишком дороги ему, чтобы что-то упустить, не договорить...

1828 год ознаменовался новым подтверждением творческого и дружеского единства поэтов. В конце года в Петербурге вышли «Две повести в стихах», состоящие из «Графа Нулина» Пушкина и «Бала» Баратынского. Исследователи до сих пор еще не выяснили все причины, породившие это совместное издание. Но главная — бесспорна: это принципиальное выступление друзей и поэтических единомышленников, стремившихся сплотить лучшие литературные силы для противодействия тлетворному влиянию торговой журналистики на словесность и читателей. Это было, в первую очередь, действие против партий партиями, необходимость которого в то время остро ощущали оба поэта. Их удар попал в цель.

Друзья и литературные единомышленники приветствовали обе поэмы. Недруги обрушивались на обоих авторов вместе. «Дамский журнал» Шаликова поместил критический разбор «Бала» и эпиграмму, мстившую поэтам за прежние и нынешние убийственные насмешки:

> Два друга, сообщась, две повести издали,
> Точили балы в них и все нули писали;
> Но слава добрая об авторах пошла,
> И книжка вдруг раскуплена была.
> Ах, часто вздор плетут известные нам лицы,
> И часто к их нулям мы ставим единицы.

Что ж, такое публичное признание единства Пушкина и Баратынского для нас сегодня дорого стоит,

ибо исходит из враждебного стана. Еще резче, правда, с иных позиций — антидворянских, выступил в «Вестнике Европы», издававшемся Каченовским, Н. И. Надеждин. Оба они — редактор журнала и критик — не раз становились объектами эпиграмм и критических выпадов со стороны Пушкина и Баратынского. Вот и напали они вместе. Заканчивая разбор поэм, Надеждин сделал разящий, с его точки зрения, вывод: «Ето суть прыщики на лице вдовствующей нашей литературы!» Словно в ответ «Вестнику Европы» журнал «Славянин», отказавшись рассыпать поэтам общие похвалы и изношенные фразы, завершил свой обзор такими словами: «...Говорю просто: это стихотворения *А. С. Пушкина* и *Баратынского*». Высокая простота!

Подобное совместное выступление Пушкин и Баратынский как представители одной литературной партии, отстаивающие единое понимание роли и назначения литературы в обществе, повторили, правда, в меньших масштабах, в 1831 году. В альманахе «Денница на 1831 г.» под общим названием «Эпиграммы» Пушкин напечатал «Не то беда, Авдей Флюгарин...», а Баратынский — «Поверьте мне, Фиглярин-моралист...». Обе эпиграммы направлены против Булгарина и его романа «Иван Выжигин».

Единство литературно-нравственных позиций отличает написанные Баратынским в том же году «Предисловие» к отдельному изданию поэмы «Наложница» и «Антикритику» (ответ Надеждину, напавшему на поэму) и ряд пушкинских статей по вопросам текущей литературной жизни. В них видны не только многочисленные совпадения точек зрения, но порой используется общая аргументация, указываются единые поэтические образцы, которым, по мнению поэтов, необходимо следовать. Не раз Баратынский и Пушкин в своих критических размышлениях в качестве положительного примера ссылаются на произведения друг друга.

В неоконченной пушкинской статье 1830 года «Баратынский» сделана самая основательная попытка объяснить читателям глубину и неповторимость таланта Баратынского, суммировать свои предыдущие суждения о нем. Но не только свои... Помните февральское 1828 года письмо Баратынского к Пушкину, в котором он, прочитав две новые главы «Евгения

Онегина», объясняет причины снижения интереса читающей публики к литературным произведениям, в которых отчетливо проявляется истинный талант их создателя? Мы не знаем, что тогда ответил Пушкин другу, но можем твердо сказать — мысли его разделил и запомнил.

И вот теперь, показывая, почему последние, более зрелые, более близкие к совершенству произведения Баратынского в публике имеют меньший успех, чем его ранние стихотворения, которые все знают наизусть и которым стремятся подражать, он обращается к читателям с очень схожими объяснениями. «Понятия, чувства 18-летнего поэта еще близки и сродны всякому, — будто припоминая свою творческую судьбу, пишет Пушкин, — молодые читатели понимают и с восхищением в его произведениях узнают собственные чувства и мысли, выраженные ясно, живо и гармонически. Но лета идут — юный поэт мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются. Песни его уже не те. А читатели те же и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни. Поэт отделяется от них, и мало-помалу уединяется совершенно. Он творит — для самого себя и если изредка еще обнародывает свои произведения, то встречает холодность, невнимание и находит отголосок своим звукам только в сердцах некоторых поклонников поэзии, как он уединенных...»[1]

Сколько общей боли и горечи в этих «общих», как заметил в побудительном письме к Пушкину Баратынский, размышлениях. Как близки они многим лучшим поэтам тех лет, воочию убеждавшимся, что «железный век» прозаизма стремительно теснит «золотой век» поэзии. С какой трагической силой отзовутся они в стихах самого Баратынского, сердечной кровью писавшего свои «Сумерки». Нетрудно представить и то, как сожмется в нем все от душевной боли, когда он уже после смерти Пушкина прочтет в его бумагах эту незаконченную статью о себе[2]...

---

[1] В черновике этой статьи Пушкина среди других рисунков есть и выразительный профиль Баратынского.

[2] «Зимою, в конце 1837 или 1838 г. — свидетельствует в «Записной книжке» Н. В. Путята, — приезжал в Петербург на несколько дней Е. Баратынский и останавливался у меня. В. А. Жуковский, коему государь поручил разобрать бумаги Пушкина, дал Баратынскому одну

До ноября 1827 года Баратынский с семьей прожил в Маре, а потом вернулся в Москву. Летом этого года Пушкин был в Петербурге, в конце июля уехал в Михайловское, осенью возвратился в столицу, где и провел почти весь следующий год. Искренне отозвавшись на выход сборника стихотворений, Пушкин после расставания, видимо, не писал лично Баратынскому, что очень беспокоило того, отличавшегося порой болезненной чувствительностью и ранимостью. И вот в конце февраля — начале марта 1828 года он пишет Пушкину теплое и тревожное письмо, пронизанное беспокойством и какой-то вопросительной интонацией: «Давно бы я писал к тебе, милый Пушкин, ежели бы знал твой адрес... В моем Тамбовском уединении я очень о тебе беспокоился... Я теперь в Москве сиротствующий. Мне, по крайней мере, очень чувствительно твое отсутствие...»

И здесь Баратынский прямо объясняет причину своего беспокойства и столь же прямо говорит о своем отношении к Пушкину, которое неизменно: «Дельвиг погостил у меня короткое время. Он много говорил мне о тебе: между прочим, передал мне одну твою фразу, и ею меня несколько опечалил. — Ты сказал ему: «Мы нынче не переписываемся с Баратынским, а то бы я уведомил его», — и проч. — Неужели, Пушкин, короче прежнего познакомясь в Москве, мы стали с тех пор более чуждыми друг другу? — Я, по крайней мере, люблю в тебе по старому и человека, и поэта».

Разумеется, опасения Баратынского были напрасными — после возвращения из ссылки и переезда в Петербург Пушкин долгое время жил, где придется, по гостиницам и холостяцким квартирам, то и дело уезжал в деревню, да и сам Баратынский, который вел более оседлый образ жизни, нередко покидал Москву по хозяйственным делам, много времени и сил отдавая семейным заботам. Все недоразумения разрешились, и уже 19 февраля 1828 года в письме Погодину Пушкин сетует на Шевырева, холодно отнесшегося к первому сборнику друга, в ноябрьских письмах к Дельвигу сообщает, что ждет ответа от Баратынского и его стихов для «Се-

---

из его рукописных тетрадей in folio в переплете. В ней находился напечатанный потом отрывок Пушкина о Баратынском. Тетрадь эта оставалась у последнего самое краткое время; он был уже в отъезде и просил меня тотчас возвратить ее Жуковскому, что я и исполнил».

верных цветов». А в начале января 1829 года, заехав ненадолго в Москву, сообщает Вяземскому: «Баратынский у меня...» Находясь в Москве и весной того же года, Пушкин 7 апреля подарил Баратынскому экземпляр только что — в последних числах марта — вышедшей в Петербурге и присланной ему поэмы «Полтава».

Вообще 1829 год был благоприятным для поэтов. Их популярность у читателей достигла зенита. Пушкин, после изгнания активно включившийся в литературную жизнь, бесспорно считался первым на поэтическом Олимпе. Стихами и поэмами Баратынского зачитывались. Помните заключительные слова из рецензии «Славянина» на «Две повести в стихах» — «это стихотворения А. С. Пушкина и Баратынского»? Критик журнала чутко высказал общее мнение: достаточно было альманаху или журналу напечатать их произведения или хотя бы объявить, что являлось едва ли не правилом, о предстоящей публикации стихов или отрывков из поэм Пушкина и Баратынского, как спрос на него тут же возрастал. Недаром в одном из обзоров поэзии в 1829 году критик В. Т. Плаксин, превознося обоих поэтов, не решался отдать пальму первенства ни одному из них: «Среди множества мелочных и обыкновенных писателей стихотворцев явились два необыкновенные поэта. Один из них более отличается чрезвычайным богатством прекрасных картин и чистотою вкуса, другой — глубокостью чувствований, свойственною жителю севера, и легкостью пиитической басни или вымысла. Можно отгадать, на чьей стороне будет первенство; но время, судья независимый от настоящих успехов, решит, кому будет принадлежать первый венок, Пушкину или Баратынскому».

Как бы в подтверждение этих слов Пушкин и Баратынский в один и тот же день 1829 года были избраны действительными членами «Общества любителей российской словесности» при Московском университете. Симптоматично и «светское» признание: единовременное избрание их в том же году членами Московского английского клуба.

В сентябре 1829 года Баратынский из-за хозяйственных дел вынужден был уехать в Мару, откуда вернулся лишь весною следующего года. Пушкин в это время то жил в Петербурге, то приезжал в Москву. И бесконечно хлопотал в связи с предстоящей женить-

бой на Н. Н. Гончаровой. А ранней осенью 1830 года, чувствуя вдохновение, засел в Болдине, откуда воротился в Москву в первых числах декабря. Эта зима вновь стала порой близкого дружеского общения поэтов.

Пушкин привез с собой огромные богатства — все, что было написано знаменитой Болдинской осенью 1830 года. И едва ли не первым, кому он их показал, был Баратынский. Уже 9 декабря в письме к Плетневу Пушкин сам подтверждает это: «Милый! я в Москве с 5 декабря... Вот что я привез сюда: 2 последние главы «Онегина», 8-ю и 9-ю, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами (стихов 400)... Несколько драматических сцен или маленьких трагедий, именно: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» и «Дон Жуан». Сверх того написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Еще не все (весьма секретное). Написал я прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржет и бьется...»

Сказанное подтверждает и декабрьское того же года письмо Баратынского к Д. Н. Свербееву: «Он теперь здесь и привез с собой 4 трагедии, поэму, последние две главы Онегина и целую папку прозы. Деятельность его неимоверна». Думается, именно встреча с Пушкиным и чтение его произведений стали сильным творческим импульсом для Баратынского в это и последующее время. Во всяком случае, его единственное дошедшее до нас прозаическое произведение — повесть «Перстень», законченная в конце 1831 года, — написано под явным впечатлением от пушкинских повестей[1].

14 января 1831 года в Петербурге умер Дельвиг. Из писем Пушкина и Баратынского к Плетневу мы уже знаем, сколь велико было их горе от потери самого близкого друга. Эта невосполнимая утрата — первая ощутимая брешь в рядах святого братства поэтов — еще более сблизила друзей. В Москве вместе с Вяземским и Языковым 27 января они справили поминки по Дельвигу. Видимо, тогда и возникла мысль написать совместную «Жизнь Дельвига». Возможно, подал ее Баратынский — 31 января Пушкин сообщил

[1] К повести «Выстрел» Пушкин первым из двух эпиграфов взял слова поэмы Баратынского «Бал»: «Стрелялись мы».

Плетневу: «Баратынский собирается написать жизнь Дельвига. Мы все поможем ему нашими воспоминаниями. Не правда ли?» Замысел, похоже, еще не раз обсуждался Баратынским и Пушкиным, который 16 февраля спрашивал Плетнева: «Что же ты мне не отвечал про «Жизнь Дельвига»? Баратынский не на шутку думает об этом». Увы, мы знаем, что прекрасный замысел не осуществился. Или рукопись, как и многое из тех далеких и дорогих нам лет, не дошла до дней нынешних. Может быть, кто-то из нас исполнит этот благородный завет?..

17 февраля, накануне свадьбы, Пушкин устроил «мальчишник», на который пригласил «особыми записочками» близких людей. В числе гостей — а их было немного, человек 10—12 — конечно, и Баратынский. Известно, что после женитьбы друга Баратынский бывал у Пушкиных и читал им свои новые стихи.

Летом 1831 года Баратынский надолго уехал из Москвы по хозяйственным делам в Казань. В это время друзья решили издать в пользу семьи Дельвига альманах «Северные цветы» на 1832 год. Пушкин наметил поместить в нем «Моцарта и Сальери» и «несколько мелочей» — четыре антологические эпиграммы, стихотворения «Дорожные жалобы», «Эхо», «Делибаш», «Анчар», «Бесы»; Жуковский — стихотворную повесть «Сражение со змеем». 11 июля Пушкин, знавший, где искать друга, в письме к Плетневу советовал: «Пиши Баратынскому; он пришлет нам сокровища; он в своей деревне». Пушкин был пружиной альманаха — торопил Вяземского, Языкова, Ф. Н. Глинку, Баратынского. Книга вышла 24 декабря 1831 года.

Баратынский направил Пушкину два стихотворения — «Бывало, отрок, звонки кликом...» и «Мой Элизий», специально написанное для этой публикации. Оно и вошло в сборник.

Все это время Пушкин внимательно следит за творчеством Баратынского. В письмах и журнальных статьях положительно отзывается о поэмах «Бал» и «Наложница», делится с друзьями мыслями о возможностях таланта Баратынского, высказывает надежду, что издание Иваном Киреевским журнала «Европеец» «разбудит его бездействие», думает о том, что «известные писатели», к числу которых принадлежит Бара-

тынский, должны выступать перед публикой со своими оценками «произведений литературного мира».

Осенью 1832 года Пушкин приехал в Москву, чтобы привести в порядок свои литературные дела. Но дружба — превыше всего. «Кто тебе говорит, — спрашивает он жену в письме от 30 сентября, — что я у Баратынского не бываю? Я и сегодня провожу у него вечер, и вчера был у него. Мы всякий день видимся...» Наверное, как раз во время этих встреч и зародилась у них мысль выпустить в Петербурге собрание сочинений Баратынского. Пушкин, судя по всему, пообещал переговорить о том с известным столичным книгоиздателем и книгопродавцом, владельцем популярной книжной лавки А. Ф. Смирдиным, который не раз печатал его собственные произведения.

Именно об этом 2 декабря из Петербурга он сообщил в Москву своему близкому приятелю П. В. Нащокину: «Скажи Баратынскому, что Смирдин в Москве и что я говорил с ним о издании «Полных стихотворений Евгения Баратынского». Я говорил о 8 и о 10 тыс., а Смирдин боялся, что Баратынский не согласится; следственно, Баратынский может с ним сделаться. Пускай он попробует». По каким-то причинам издание это не осуществилось, хотя договоренность, похоже, состоялась: Баратынский подготовил рукопись — цензурное разрешение на ее публикацию было получено в Петербурге 7 марта 1833 года. «Стихотворения Евгения Баратынского» в 2-х частях вышли в Москве через два года.

Памятной для поэтов стала и осень 1833 года, когда они в течение нескольких дней виделись в Казани. Баратынский приехал сюда в первой половине августа — видимо, для того, чтобы решить какие-то хозяйственные дела по имениям, принадлежавшим Энгельгардтам и находившимся в окрестностях города[1]. Это был второй после 1831 года приезд Баратынского в Казань. Он навестил гостеприимный дом своих добрых знакомых К. Ф. и А. А. Фуксов, встретился с известным математиком, в то время ректором местного университета Н. И. Лобачевским. Виделся и с Н. В. Всеволжским,

---

[1] Обстоятельства казанской встречи подробно описаны В. Г. Загвозкиной в книге «Е. А. Боратынский и Казань» (Казань, 1985), богатой малоизвестными н архивными сведениями о пребывании поэта в здешних местах.

приехавшим в город по заданию военного министерства. Они были знакомы еще по Петербургу, где Баратынский и Пушкин участвовали в заседаниях общества «Зеленая лампа», проходивших в доме Всеволжского.

26 августа, возвращаясь из Казани в Петербург, Всеволжский в Москве встретил Пушкина и, узнав, что тот собирается для сбора материалов к «Истории Пугачева» ехать в Казанскую и Оренбургскую губернии, сообщил ему о Баратынском. Пушкин приехал в Казань 5 сентября и сразу же увиделся с другом. На следующий день Баратынский поехал к Фуксам и рассказал им о приезде Пушкина. Вот как вспоминала Александра Андреевна об этом через десять лет в записках «А. С. Пушкин в Казани»: «В 1833 году 6-го сентября, задумавшись, сидела я в своем кабинете, ожидая к себе нашего известного поэта Боратынского, который обещал заехать проститься, и грустила об его отъезде. Боратынский вошел ко мне в комнату с таким веселым лицом, что стало даже досадно. Я приготовилась было сделать ему упрек за такой равнодушный прощальный визит, но он предупредил меня, обрадовав меня новостью о приезде в Казань А. С. Пушкина и о желании его видеть нас».

Вечер 6 сентября друзья провели вместе. Назавтра, познакомив Пушкина с К. Ф. Фуксом, сообщившим поэту весьма полезные сведения о пребывании Пугачева в крае, Баратынский уехал в деревню Каймары, находившуюся в 22 верстах от Казани. Пушкин в это время побывал в местах, связанных с именем своего героя, осмотрел город, а вечером нанес визит новым знакомым, где весьма своеобразно представился хозяйке дома: «Нам не нужно с вами рекомендоваться; музы нас познакомили заочно, а Баратынский еще более».

8 сентября рано утром Пушкин собирался в Оренбург. Проводить его из Каймар приехал Баратынский. Он вошел к другу, когда тот заканчивал письмо к жене: «Я в Казани с пятого и до сих пор не имел время тебе написать слова... Здесь я возился со стариками, современниками моего героя; объезжал окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту сторону... Здесь Баратынский. Вот он ко мне входит».

До недавнего времени не было известно, где останавливался Пушкин в Казани, не знали также и места

жительства Баратынского. Благодаря упорным поискам казанских краеведов мы можем теперь ответить на оба вопроса. Дважды приезжая в Казань, Баратынский жил в доме своего тестя на Грузинской улице, который впоследствии сгорел. Именно в этом доме и остановился у него Пушкин, сообщивший позже знакомым, что в Казани «стоял вместе с Баратынским». Вот так почти случайная встреча друзей в далеком краю стала новым подтверждением их близких отношений. И немудрено, что многие жители города посчитали даже, что поэты вместе специально приехали в Казань. Ведь писал же с их слов в октябре того же года Д. В. Давыдов братьям Языковым: «...Кстати о Пушкине, — знаете ли, что я слышал от людей, получивших письма из Казани? В Казани были Пушкин и Баратынский, отыскивающие сведения о Пугачеве. Из этого я заключаю, что они в союзе для сочинения какого-нибудь романа, в котором будет действовать Пугачев...» Да, поэты действительно всегда были «в союзе»!

Последний раз в жизни они виделись в Москве, куда Пушкин приехал в конце апреля 1836 года для улаживания дел, связаных с изданием своего журнала «Современник», и работы в архиве Коллегии иностранных дел над материалами по «История Петра I». Пушкин пробыл в Москве около трех недель и встретился со множеством старых и новых знакомых — литераторами, учеными, актерами, художниками. Его буквально разрывали на части.

Не исключено, что Баратынский, всегда предпочитавший неспешное дружеское общение в узком кругу и становившийся с возрастом все более чувствительным к внешним знакам внимания, в этой суете и толчее вокруг поэта сам несколько отдалился от Пушкина и, имея более, чем кто-либо, прав на его внимание, не захотел смешиваться с толпой восторженных и не всегда искренних почитателей. Пушкин это тут же заметил. Незадолго до отъезда из Москвы он, привыкший в переписке с женой обсуждать свои мысли и настроения, с какой-то ощутимой грустью обронил: «Баратынский однако ж очень мил. Но мы как-то холодны друг к другу».

Меньше чем через год Пушкина не стало. Это явилось для Баратынского страшным ударом. Со смертью

Пушкина для него не только окончательно распадался тот святой поэтический и дружеский круг, который сложился почти двадцать лет назад в Петербурге, но и обрывались творческие и сердечные связи с «золотым веком» русской литературы. Одновременно рушились самые светлые надежды на будущее — ведь с именем Пушкина, как считал Баратынский, Россия соединяла мечты о выходе отечественной поэзии в большой мир.

«Пишу к вам, — сообщает Баратынский 5 февраля 1837 года Вяземскому, — под громовым впечатлением, произведенным во мне и не во мне одном ужасною вестью о погибели Пушкина. Как русский, как товарищ, как семьянин скорблю и негодую. Мы лишились таланта первостепенного, может быть еще не достигшего своего полного развития, который совершил бы непредвиденное... Не могу выразить, что я чувствую; знаю только, что я потрясен глубоко и со слезами, ропотом, недоумением беспрестанно себя спрашиваю: зачем это так, а не иначе? Естественно ли, чтобы великий человек, в зрелых летах, погиб на поединке, как неосторожный мальчик?.. В какой внезапной неблагосклонности к возникающему голосу России провидение отвело око свое от поэта, давно составлявшего ее славу и еще бывшего (что бы ни говорили злоба и зависть) ее великою надеждой?» Сколь близки эти скорбные слова тем памятным горячим строкам из письма Баратынского к Пушкину, в которых он пророчил ему славу Петра Великого в поэзии!

Поэтическим реквиемом на смерть друга стало стихотворение Баратынского «Осень», на последних строфах которого, как сообщил он в другом февральском письме к Вяземскому, его «застало» роковое известие. «Осень» — «дань» поэта Пушкину и его журналу — была опубликована в первом номере «Современника» за 1837 год. Это величественное, эпически возвышенное философское размышление о судьбе поэта как бы подводит итог тех самых «общих» с Пушкиным горьких дум об утратах поэтических и душевных в век холодности и прозаизма, которыми они делились еще недавно:

...Знай, внутренней своей вовеки ты
Не передашь земному звуку
И легких чад житейской суеты

Не посвятишь в свою науку;
Знай, горняя иль дольняя, она
Нам на земле не для земли дана...
Так иногда толпы ленивый ум
Из усыпления выводит
Глас, пошлый глас, вещатель общих дум,
И звучный отклик в ней находит,
Но не найдет отзыва тот глагол,
Что страстное земное перешел.

Эти строки прочитываются неделимо и по отношению к Пушкину, и по отношению к самому Баратынскому.

До конца своих дней поэт свято хранил любовь к Пушкину, считая себя «звездой разрозненной плеяды», центром которой был его великий друг, всегда ощущая себя младшим перед ним, старшим. В свой последний сборник «Сумерки», выпущенный в 1842 году, куда вошла и «Осень», Баратынский включил давнее стихотворение «Новинское». Оно было написано в 1826 году и посвящено памятному событию тех лет — первому после возвращения из ссылки появлению Пушкина на гуляниях в подмосковном селе Новинском. Переработав для «Сумерек» начальные четыре строки стихотворения, которое до сих пор нигде не публиковалось, Баратынский поставил посвящение «А. С. Пушкину» и указал две даты: «1826, 1841».

Немногие современники получили от автора дарственный экземпляр «Сумерек». В их числе — Н. Н. Пушкина...

Возможно, иной читатель удивится тому, что о взаимоотношениях Пушкина и Баратынского рассказано так подробно. Это сделано сознательно — по двум причинам. Одна — естественная. Имя Пушкина столь высоко и свято для нашей истории и культуры, что давно уже стало и будет всегда мерилом всего талантливого и честного. Сопряжения с Пушкиным выдерживают немногие. Баратынский выдерживает. В этом, вчитываясь в его стихи, убеждаемся мы сами, в этом убеждает нас и Пушкин, спокойно и трезво написавший в последней неоконченной статье о друге: «Никогда не старался он малодушно угождать господствующему вкусу и требованиям мгновенной моды, никогда не прибегал к шарлатанству, преувели-

чению для произведения большего эффекта, никогда не пренебрегал трудом неблагодарным, редко замеченным, трудом отделки и отчетливости, никогда не тащился по пятам увлекающего свой век гения, подбирая им оброненные колосья; он шел своею дорогой один и независим».

Другая причина — вынужденная. Еще в самом начале нашего века один торопливый и не очень добросовестный исследователь напечатал сенсационный труд, в котором, рассуждая о Пушкине и Баратынском, ничтоже сумняшеся заявил, что все их жизненные и творческие отношения всегда были пронизаны духом нездорового соперничества и даже внутренней вражды. Более того, он объявил их Моцартом и Сальери начала XIX века. Порядочному ученому и вдумчивому читателю, конечно, нетрудно опровергнуть подобные вымыслы, что сразу же и сделал известный поэт и тонкий знаток эпохи В. Я. Брюсов. Казалось бы, тема закрыта. Но, увы, и по сей день нет-нет да и оживают под пером некоторых любителей острых ощущений те сомнительные и безнравственные по глубинной своей сути наветы.

Начиная наш разговор о творчестве Баратынского, мы исходили из того, что репутация писателя, как и каждого человека, складывается непросто, слово за слово, из читательских мнений, как прижизненных, так и посмертных. И наша читательская и гражданская обязанность оградить имена русских поэтов от липких и грязных перьев, сохранить чистоту их дружбы в неприкосновенности. Вот и пришлось нам шаг за шагом, строка за строкой восстанавливать картину былого, чтобы самостоятельно постичь истину, охраняющую от скороспелых суждений и микробов неуважения к памяти минувшего.

БУДЕМ МЫСЛИТЬ В МОЛЧАНИИ

«Стихи Баратынского отличаются теми же качествами, какие составили особенность его поэтической личности: утонченность наружной отделки всегда скрывает в них сердечную мысль, глубоко и заботливо обдуманную. Но между тем сколько ни замечательно их поэтическое достоинство, однако они еще не вполне выказывают тот мир изящного, который он носил в

глубине души своей». Это проницательное замечание, несколько напоминающее знакомые нам суждения Вяземского, принадлежит оригинальному критику и мыслителю, яркому представителю следующего за Пушкиным и Баратынским поколения русских литераторов, которые много сделали для укрепления пробудившегося самосознания отечественной культуры, — Ивану Васильевичу Киреевскому.

Его имя уже не раз встречалось на страницах этой книги. И не случайно. Без авторитетных мнений и точных оценок Киреевского, хорошо знавшего и понимавшего Баратынского, сегодня просто нельзя достоверно сложить его духовную биографию. Вот и замечание о том, что внутренний мир поэзии Баратынского богаче его внешних проявлений, выдает в Киреевском человека, глубоко проникшего в этот мир. Еще более разительное подтверждение этому мы обнаружим, если продолжим цитату из статьи Киреевского, написанной в 1845 году в связи с кончиной поэта и итожащей мнения критика.

«Рожденный для искреннего круга семьи и друзей, необыкновенно-чувствительный к сочувствию людей ему близких, Баратынский охотно и глубоко высказывался в тихих дружеских беседах и тем заглушал в себе иногда потребность выражаться для публики. Излив свою душевную мысль в дружеском разговоре, живом, разнообразном, невыразимо-увлекательном, исполненном счастливых слов и многозначительных мыслей, согретом теплотою чувства, проникнутом изяществом вкуса, умною, всегда уместною шуткою, дальновидностью тонких замечаний, поразительной оригинальностью мыслей и особенно поэзией внутренней жизни, — Баратынский часто довольствовался живым сочувствием своего близкого круга, менее заботясь о возможных далеких читателях. Оттого для тех, кто имел счастье его знать, прекрасные звуки его стихов являются еще многозначительнее, как отголоски его внутренней жизни. Но для других, чтобы понять всю красоту его созданий, надобно прежде вдуматься в совокупный смысл его отдельных стихотворений, вслушаться в общую гармонию его задумчивой поэзии».

Думается, нам сегодня, чтобы в полной мере оценить поэзию Баратынского, стоит последовать

этому выверенному совету. Тем более, что и сам Киреевский, имевший счастье знать поэта «изнутри», никогда не пренебрегал им. Оценивая то или иное новое создание Баратынского, он всегда стремился уяснить и показать читателям его внутренние связи с предыдущими произведениями и общим направлением творческого развития своего любимца.

Вот два тому примера. Разбирая в «Обозрении русской словесности 1829 года» поэму «Бал», критик не только сравнивает ее с поэмами «Эда» и «Переселение душ», но и дает сжатое и удивительно точное суждение о всей поэзии Баратынского. И не только выявляет присущее ей «необщее выраженье» и определяет место в современной литературе, но и проницательно судит о ее внутренних возможностях, которые еще отчетливо не проявились[1]. Сходным образом проанализирована и следующая значительная поэма Баратынского «Наложница» в «Обозрении русской литературы за 1831 год». Сравнив ее с «Эдой» и «Балом», показав их сходство и различие, критик верно определяет те ступени творческого развития, которые прошел Баратынский в создании каждой из них. И опять, «чтобы оценить как должно» новое произведение Баратынского, Киреевский предлагает читателям «определить общий характер его поэзии» и посмотреть, «как она выразилась» в этом творении. Его критическая оценка поражает чуткостью проникновения в самую душу поэзии Баратынского и умением ясно и доказательно раскрыть своеобразие его неповторимости.

Оба обозрения вошли в «Избранные статьи» Киреевского, выпущенные в 1984 году большим тиражом издательством «Современник» в составе прекрасной серии «Любителям российской словесности». Познакомтесь с ними поближе — не пожалеете: это многое даст для умения постигать внутреннюю жизнь и поэзию Баратынского, утверждавшую, по верному мнению критика, высокую нравственность истинного художественного создания и связанную «с самыми

[1] Мы уже знаем, что в целом это обозрение молодого критика получило одобрение Пушкина. Рецензируя в № 8 «Литературной газеты» за 1830 год альманах «Денница», где оно напечатано, Пушкин, полностью разделяя мнения Киреевского, обширно процитировал его оценки поэзии Баратынского. «Замечательнейшей статьей» назвал это обозрение в 1842 году Белинский.

решительными опытами души, с самыми возвышенными минутами бытия и с самыми глубокими, самыми свежими мечтами, мыслями и воспоминаньями...».

Киреевский, подобно Пушкину, считал, что творчество Баратынского до конца не понято и не оценено читателями. Об этом он часто писал при жизни поэта, об этом же сказал во «Введении к библиографии», напечатанном в 1845 году в журнале «Москвитянин» и ставшем своего рода прообразом итоговой посмертной статьи о поэте, о которой уже шла речь. И здесь критик вновь подтвердил свое мнение о том, что в созданном Баратынским его талант раскрылся далеко не полностью, что дарование поэта обещало явить многие прекрасные произведения, которые умножили бы славу отечественной литературы. И совсем по-пушкински, охарактеризовав Баратынского как «певца любви, печали, сердечных дум и сердечных сомнений, своеобразного поэта, высокого, глубоко чувствующего художника, искреннего в каждом звуке, отчетливо изящного в каждой мечте», Киреевский с укоризной признает, что в последнее время он писал «особенно мало и еще менее был понят и оценен монополистами литературных мнений, самодовольными журнальными судьями, которые часто полурусским языком произносили приговор свой над его образцовыми, глубоко прочувствованными стихами...».

Баратынский и Киреевский познакомились в Москве во второй половине 1820-х годов, после выхода поэта в отставку. Их многое, казалось, должно было разделять. И прежде всего годы — Баратынский старше на шесть лет, что в то бурное и недолговечное время значило немало. Киреевский воспитывался на литературных и философских образцах нового времени, вкусы и мышление Баратынского сформировались, как мы знаем, главным образом под влиянием Вольтера и французской словесности. И вызревали оба в разных условиях. Баратынский — в атмосфере декабристских надежд и свободолюбивых мечтаний, Киреевский — в пору горьких разочарований николаевского времени. Но оба они искренне болели за судьбу отечества, верили в победу разума и добра, желали социальной справедливости и стремились честно и последовательно, в меру таланта и сил,

служить литературе и своему народу. Оба были по натуре оригинальными мыслителями и носили в душе богатый мир чувств и впечатлений.

Между ними сложилась та удивительная душевная близость, нежная и доверительная, которая единомышленников превращает в друзей. Это случилось не сразу, не так, как у Баратынского с Дельвигом и Пушкиным. Они-то были погодки, одного круга и воспитания, сходных устремлений и литературных интересов. А здесь к дружбе пришлось идти через знакомство, литературные встречи, общих друзей. 29 января 1829 года Киреевский признался в письме к Соболевскому, в доме которого они часто встречались и который хорошо знал их обоих: «С Баратынским мы сошлись до **ты**. Чем больше его знаешь, тем больше он выигрывает». А в августе 1831 года в письме из Каймар в Москву и Баратынский с бесстрашной сердечностью выговорился: «Дружба твоя, милый Киреевский, принадлежит к моему домашнему счастью: картина его была бы весьма неполной, ежели б я пропустил речи наши о тебе, удовольствие, с которым мы читаем твои письма, искренность, с которою тебя любим и радуемся, что ты нам платишь тем же. Мы оба видим в тебе милого брата и мысленно приобщаем тебя к нашей семейной жизни. Ты из нее не выходишь и в мечтах наших о будущем, и когда мы располагаем им по воле нашего сердца, ты всегда у нас в соседстве, всегда под нашим кровом. Ты первый из всех знакомых мне людей, с которым изливаюсь я без застенчивости: это значит, что никто еще не внушал мне такой доверенности к душе своей и своему характеру».

Горячая пора этой дружбы, увы, продолжалась недолго. После 1834 года Баратынский и Киреевский как-то сразу отдалились и перестали переписываться. Причины этого до сих пор не ясны. Возможно, вольно или невольно тому содействовала Анастасия Львовна — до нас дошло сдержанное суждение на сей счет А. П. Елагиной-Киреевской. Возможно, друзья разошлись во взглядах на будущее России и в понимании путей ее развития — к концу 1830-х годов Баратынский решал для себя эти вопросы особо, не примыкая ни к одному из боровшихся между собой в те годы умственных направлений: ни к западникам, ни к

славянофилам, идеи которых были дороги Киреевскому. Во всяком случае, эта особость позиции послужила причиной духовного одиночества поэта и нападок на него из обоих лагерей. Но ни разу ни Баратынский, ни Киреевский не отозвались друг о друге неодобрительно, и в памяти их если не сама дружба, то дорогие воспоминания о ней сохранились, судя по всему, навсегда. Именно они напитали сердечностью и любовью те проникновенные строки, которые Киреевский посвятил умершему другу.

В пору дружеского сближения Киреевский, высоко ставивший поэзию Баратынского, заботливо «опекал» его музу, стремился и публично и в письмах поддержать и поощрить друга, утвердить в верности избранного пути. Своими разборами произведений Баратынского, литературно-философскими беседами, которые, видимо, были часты и продолжительны и переходили в переписку, творческими советами, а порой и прямыми «заданиями» он постоянно побуждал поэта к активной и разнообразной художественной деятельности. Даже приступая к изданию журнала «Европеец», на страницах которого, «не запачканных именем Булгарина», как выразился Киреевский в письме к Жуковскому, можно говорить о лучших русских писателях, Иван Васильевич думал о той пользе, которую сотрудничество, принятое Баратынским, принесет поэту. И считал, что тот год, когда он станет больше писать, будет для издателя счастливым.

Поразительное творческое и душевное внимание к Баратынскому Киреевский выказал в письме к Пушкину весной 1832 года. В февральском письме к автору «Обозрения русской литературы за 1831 год» Пушкин поблагодарил за разбор своего «Бориса Годунова» и «Наложницы» Баратынского и, в целом согласившись с мнением Киреевского о его поэзии, высказал сомнения относительно предсказанного пути ее развития. Киреевский, объяснив подробнее свою позицию, сделал открытое и чистое признание, которое прекрасно характеризует и его самого, и отношения друзей-поэтов: «Говоря, что Баратынский должен создать нам нового рода комедию, я основывался не только на проницательности его взгляда, на его тонкой оценке людей и их отношений, жизни и ее случайностей, но больше всего на той глубокой

возвышенно-нравственной, чуть не сказал гениальной, деликатности ума и сердца, которая всем движениям его души и пера дает особенный поэтический характер и которая всего более на месте при изображениях общества. Впрочем, Вы лучше других знаете Баратынского и лучше других можете судить о нем, потому я уверен, что, по крайней мере, в главном мы с Вами не розним. Но во всяком случае я Вам отменно благодарен за то, что Вы обратили внимание на мое мнение о Баратынском. После основных законов нравственности понятие о людях, которых я уважаю, есть вещь, которою я более всего дорожу в моих мнениях. И в этом случае мне особенно приятно было сойтись с Вами».

Прекрасные доказательства дружбы оставил и Баратынский. История, не сохранив, кажется, ни одного письма к нему Киреевского, подарила нам более 50 писем Баратынского к другу. Все они, датированные 1829—1834 годами, свидетельствуют, что общение с Киреевским, человеком оригинального ума и дарования, отлично образованным, было для Баратынского подлинным университетом мысли. Это — уникальная повесть в письмах, в которой личное тесно сплетено с размышлениями о судьбах отечественной и мировой культуры, факты собственной жизни рассматриваются в контексте духовного бытия русского общества конца 1820-х — начала 1830-х годов.

В этих письмах — приметы углубления философских взглядов и творческих воззрений Баратынского, который многое воспринял у Киреевского, бывшего ближе к новейшим течениям мысли. В них отчетливо ощутим внутренний перелом в настроениях и взглядах поэта, глубоко переживавшего трагедию декабризма и с годами все сильнее испытывавшего тяготы судьбы человека, «кумиры сердца» которого находились в резком несоответствии с направлением государственных предписаний. Тот перелом в душах лучшей части поколения, о котором выразительно говорил Герцен: «Мы живем на рубеже двух миров: оттого особая тягость жизни для мыслящих людей. Старые убеждения, все прошедшее миросозерцание потрясены — но они дороги сердцу. Новые убеждения, многообъемлющие и великие, не успели еще принести плода... Множество людей осталось без прошедших

убеждений и без настоящих. Другие механически перепутали долю того и другого и погрузились в печальные сумерки. Люди внешние предаются в таком случае ежедневной суете; люди созерцательные — страдают: во что б ни стало ищут примирения, потому что с внутренним раздором, без краеугольного камня нравственному бытию человек не может жить».

Для нас письма Баратынского к Киреевскому как раз и важны такими поисками, в них немало социальных и художественных оценок происходящего, которых никому, кроме самых близких друзей, поэт не доверял. Здесь помимо дорогих свидетельств о собственном литературном труде, дающих ключ ко многим произведениям Баратынского тех лет, есть и замыслы — зерна, брошенные в поэтическую почву, но по разным причинам не взошедшие. Само их наличие дает возможность ощутить интерес поэта к большой прозе и реалистический потенциал его художественных поисков как раз в то время, когда муза Баратынского возлагала богатые дары на алтарь романтической поэзии. Наконец, в письмах этих упомянуты подробности создания некоторых произведений, до нас не дошедших, — «небольшая драма», «Жизнь Дельвига», «эклектический роман» и других.

Именно в этих письмах Баратынский прямо высказался об атмосфере духовной жизни России, переживающей трудные времена, и подчеркнул необходимость для честного писателя честно трудиться во имя блага отечества: «... В губерниях вовсе нет этого равнодушия ко всему... В губерниях больше гражданственности, больше увлечения, больше элементов политических и поэтических... Не предавайся унынию. Литературный труд сам по себе награда; у нас, слава богу, степень уважения, которую мы приобретаем, как писатели, не соразмеряется торговым успехом. Это я знаю достоверно и по опыту. Булгарин, несмотря на успехи свои в этом роде, презрен даже в провинциях. Я до сих пор еще не встречался с людьми, для которых он пишет... Нет поэзии без убеждений... Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным... Будем писать, не печатая. Может быть, придет благоспешное время... Поэзия индивидуальная одна для нас естественна. Эгоизм — наше законное божество, ибо

мы свергнули старые кумиры и еще не уверовали в новые. Человеку, не находящему ничего вне себя для обожания, должно углубиться в себя. Вот покамест наше назначение... Россия для нас необитаема, и наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления...»

Именно Киреевскому поэт высказал свою любимую мысль о том, что «прекрасное положительнее полезного», подчеркнув, что нравственность в литературных произведениях должно искать «только в истине или прекрасном, которое ничто иное как высочайшая истина». Эта тема их заочного разговора тесно переплетена с обоюдным убеждением, что только самобытный и независимый художник может явить миру нетленные творения и что источником настоящего творчества должны быть собственные размышления писателя, умеющего в то же время выразить не только себя, но и мир в его разнообразии. Развивая применительно к литературе идею Киреевского о необходимости для России собственной философии, высказанную в «Обозрении русской словесности 1829 года», Баратынский замечает: «Всякий писатель мыслит, следственно, всякий писатель, даже без собственного сознания, — философ. Пусть же в его творениях отразится собственная философия, а не чужая. Мы родились в век эклектический: ежели мы будем верны нашему чувству, эклектическая философия должна отразиться в наших творениях; но старые образцы могут нас сбить с толку, и я указываю на современную философию для современных произведений, как на магнитную стрелку, могущую служить путеводителем в наших литературных поисках»[1].

В этих письмах выражена поддержка устремлений Киреевского как критика и издателя журнала пробудить национальное самосознание читающей публики и привить ей вкус к отечественной литературе: «Ты не можешь себе представить, с каким восхищением я читал просвещенные страницы твоего журнала[2],

[1] «*Наша* философия, — писал Киреевский, — должна развиться из *нашей* жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов *нашего* народного и частного быта».

[2] Разрешение издавать журнал, в котором должны были сотрудничать лучшие писатели и критики, Киреевский получил в 1831 году. «Европеец» начал выходить с 1832 года, но был запре-

сам себе почти не веря, что читаю русскую прозу, так я привык почерпать подобные впечатления только в иностранных книгах... Вообще журнал очень понравился. Нашли его и умным, и ученым, и разнообразным. Поверь мне, русские имеют особенную способность и особенную нужду мыслить...»

Наконец, именно Киреевскому под большой «тайной», так как утаивать от него настоящий образ мыслей «совестно», Баратынский высказал свои критические замечания о «Евгении Онегине» и пушкинских сказках. Именно на этих суждениях, хотя Баратынский оговорился, что высказывает лишь личное мнение и критиковать Пушкина ему «весьма некстати» во всех смыслах, недоброжелатели русской литературы обосновывают мнение о якобы существовавшей вражде поэтов. Но это не так. Суть в ином. Баратынский первым достоинством поэзии считал самобытность и самостоятельность. Его высокая требовательность к себе и другим вызывала уважение современников. Именно неповторимость пушкинских творений всегда была, в том числе и в письмах к Киреевскому, предметом восхищения Баратынского, в чем мы не раз убеждались на страницах этой книги. Так вот, «претензии» поэта к «Евгению Онегину», которого он, как пишет Киреевскому, иногда считал «лучшим произведением Пушкина, иногда наоборот», и заключаются в том, что в романе, с точки зрения Баратынского, слишком ощутимо влияние Байрона.

Что ж, упрек не оригинальный. Многие читатели и критики, на что, кстати, указывал в письме Пушкину и сам Баратынский, воспринимали и отдельные главы, и роман в целом как русский вариант поэмы Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда» (1809—1817), не умея понять огромной разницы между общеромантической поэмой и принципиально национальным реалистическим романом в стихах. Мало кто при жизни Пушкина смог по-настоящему оценить истинное значение его гениального и новаторского творения, тем более что подражания «Чайльд Гарольду» и «Евгению

щен по личному указанию царя на третьем номере за публикацию в первом номере статьи самого Киреевского «Девятнадцатый век», вследствие чего издатель попал в число лиц «неблагонадежных». Баратынский напечатал в журнале несколько стихотворений, статью «Антикритика» и повесть «Перстень». Предполагал и больше...

Онегину» в то время вырастали как грибы и порой сбивали публику с толку. Не понял до конца роман и Баратынский, хотя, как мы знаем, именно он высказал автору проницательнейшие суждения, близкие мнениям Белинского и Достоевского. Думается, что на окончательную позицию Баратынского заметно повлияла и авторитетная для него оценка романа Киреевским в статье 1828 года «Нечто о характере поэзии Пушкина». Говоря о «неисчислимых красотах» пушкинского произведения, критик замечал: «Недостатки «Онегина» суть, кажется, последняя дань Пушкина британскому поэту».

Точно так же оступился Баратынский и в оценке пушкинских сказок. Их недостаток он увидел в том, что они равны настоящим народным сказкам. «Что за поэзия, — спрашивал поэт Киреевского, — слово в слово перевести в рифмы Еруслана Лазаревича или Жар-птицу? И что это прибавляет к литературному нашему богатству?» Произведению же истинно литературному нужно, с его точки зрения, не подражание — пусть и прекрасным образцам! — но поэтический вымысел, преобразующий начальный материал. Как видим, и здесь Баратынский отстаивает собственно творческую самобытность и самостоятельность, видя в литературном произведении прежде всего проявление личности его создателя. Упрекая Пушкина в «простом» подражании русским сказкам, он противопоставляет им русские песни Дельвига, несущие отпечаток индивидуальности поэта. И такое разграничение явно обличает в Баратынском художника романтической ориентации, который в силу исторических причин не может понять истинные достоинства произведения реалистического.

Как видим, и в том и в другом случае критика пушкинских созданий — это мнение поэта-романтика о писателе-реалисте. В то время, когда Пушкин, отдав щедрую дань романтическому искусству, смело пошел по пути реалистического изображения жизни, Баратынский лишь начинал задумываться о его содержательных и художественных возможностях. Он, если судить по критическим статьям и письмам, в конце 1820-х — начале 1830-х годов только теоретически подошел к мысли об исторической необходимости реализма. Психологические элегии и поэмы Баратын-

ского содержали сильные ростки нового творческого подхода и объективно прокладывали дорогу нарождающемуся в русской литературе реализму, но сам он как поэт, ясно осознающий характер своего дарования, всегда субъективно оставался в рамках романтического способа художественного познания действительности. Особенно ярко это проявилось в его поздней лирике, давшей высочайшие образцы романтической философской поэзии. Но это как раз и доказывает, что несогласия Баратынского носят творческий, а не личностный характер, что проистекают они не от вражды, а от непонимания, от ограниченности исторического видения, что встречается, увы, гораздо чаще, чем историческая прозорливость. Кстати, для Баратынского это, пожалуй, единственный пример художнической нечуткости. Но и здесь прямота, искренность и аккуратность высказывания — в частном письме, под секретом! — не могут не вызывать уважения к поэту, честному и в своей правоте, и в своих заблуждениях...

В начале 1830-х годов Баратынский решает издать новый сборник своих произведений — тот самый, о котором Пушкин вел переговоры со Смирдиным в конце 1832 года. Поэт рассматривает его как итог творческого пути, ибо считает дальнейшее активное участие в литературной жизни, иссушенной и отравленной гонениями царской цензуры, кознями реакционной журналистики и равнодушием публики, проблематичным. Особенно — после запрещения «Европейца». Эта причина прямо названа в письмах к Киреевскому: «Я не отказываюсь писать, но хочется на время, и даже долгое время, перестать печатать. Поэзия для меня не самолюбивое наслаждение... Будем мыслить в молчании... Будем писать, не печатая...»

Кроме того, напряженно размышляя о переломе в духовной жизни России, да и всей Европы, непрестанно потрясаемой революционными волнениями и усмиряемой жесткой рукой власти, об утрате прежних «кумиров» и поисках других, Баратынский, подобно многим современникам, приходит к выводу о том, что новое время требует новой, сообразной ему поэзии. Но она, по его мнению, может возникнуть не сразу, лишь после глубинных раздумий и чувствований.

Следовательно, всякий честный художник, чье слово должно служить отечеству и нести людям не мимолетное настроение, а выстраданную мысль, заключенную в безупречную форму, обязан это слово в себе выносить. Потому-то, подводя итог сделанному, поэт и сообщил в декабре 1832 года Вяземскому: «Я не пишу ничего нового и вожусь со старым. Я продал Смирдину полное собрание моих стихотворений. Кажется, оно в самом деле будет последним и я к нему ничего не прибавлю. Время поэзии индивидуальной прошло, другой еще не созрело».

«Стихотворения Евгения Баратынского» в 2-х частях вышли лишь через три года — в апреле 1835-го. Почему же такая задержка? Точный ответ сейчас дать трудно. Составил книгу поэт в конце 1832 года, 7 марта следующего было получено разрешение на публикацию петербургского цензора Бутырского. В том же году, но в Москве, в типографии Августа Семена при Императорской медико-хирургической академии, которая, кстати, выпустила и издания 1827 и 1842 годов, сборник начал печататься — в первой части, где помещены стихотворения, бумажные листы имеют водяной знак «1833». Может быть, причины задержки организационные, связанные с переменой типографии — ведь поначалу предполагалось печатать у Смирдина в Петербурге. Возможно, они заключены в творческой работе над поэмами — только весной 1834 года, как явствует из письма к Киреевскому, Баратынский отослал в типографию исправленный текст «Эды» и «Пиров». Во второй части книги, где они напечатаны, на бумаге водяной знак «1834». Исправления вносились и в поэму «Цыганка», что видно из ноябрьского письма Баратынского к сестре жены. На титульном листе книги — водяной знак «1834».

Не исключено, что причина и в другом. Известно, что Баратынский задумал предпослать всему сборнику особое стихотворное предисловие, а на титульном листе поместить музыкальный эпиграф. И то и другое было послано в типографию весной 1834 года через Киреевского. По каким-то мотивам исполнить задуманное не удалось: может быть, текст книги уже был набран и добавления нарушили бы типографский процесс, который и так задерживался. Ведь Баратынский в период подготовки сборника в типографии

находился в Маре, куда, подчас с задержкой, посылались корректурные оттиски. На пересылку уходило время, на внесение исправлений — тоже. Конечно, присутствие автора в Москве ускорило бы издание, хотя за ним следили такие квалифицированные помощники, как Киреевский и С. Л. Энгельгардт. Возможно, что и сам поэт отказался от публикации предисловия.

Во всяком случае, не попав в книгу, оно так и осталось неопубликованным при жизни Баратынского. А жаль. Стихотворение «Вот верный список впечатлений...», намеченное как предисловие, очень точно выразило бы и настроения поэта в те годы и сам замысел «итогового» труда[1]:

Вот верный список впечатлений
И легкий и глубокий след
Страстей, порывов юных лет,
Жизнь родила его — не гений.
Подобен он скрыжали той,
Где пишет ангел неподкупный
Прекрасный подвиг и преступный —
Все, что творим мы под луной.
Я много строк моих, о Лета!
В тебе желал бы окунуть
И утаить их как-нибудь
И от себя и ото света...
Но уж свое они рекли,
А что прошло, то непреложно.
Года волненья протекли,
И мне перо оставить можно.
Теперь я знаю бытие.
Одно желание мое —
Покой, домашние отрады.
И, погружен в самом себе,
Смеюсь я людям и судьбе,
Уж не от них я жду награды.
Но что? с бессонною душой,
С душою чуткою поэта

[1] Впервые оно было опубликовано только в наше время — в двухтомном полном собрании стихотворений Баратынского, выпущенном в 1936 году.

Ужели вовсе чужд я света?
Проснуться может пламень мой,
Еще, быть может, я возвышу
Мой голос, родина моя!
Ни бед твоих я не услышу,
Ни славы, струны утая.

Зная обстоятельства жизни Баратынского в конце 1820-х — начале 1830-х годов, его творческие помыслы и чисто человеческие настроения, высказанные в письмах Пушкину и Киреевскому, нельзя не признать, что это стихотворение — честная и очень точная самохарактеристика. Будь оно напечатано, сверхтема книги, ее характер и смысл были бы заявлены с первых строк. Тем более что композиционно такое вступление сопряглось бы со стихотворением «Бывало, отрок, звонким кликом...», завершающим первую — лирическую — часть: «Но все проходит. Остываю Я и к гармонии стихов — И как дубров не окликаю, Так не ищу созвучных слов». Читатели книги, по замыслу Баратынского, должны были воспринять ее как прощание с поэзией, сознательное прекращение активной творческой деятельности.

Сборник 1835 года в идейном и художественном смысле, действительно, итожил большой и важный этап творчества Баратынского. В него вошло все лучшее, что было создано поэтом за полтора десятилетия литературной работы: 131 стихотворение и 6 поэм.

Из 83 стихотворений, помещенных в издании 1827 года, сюда перешло 77, многие в сильно переработанном виде. Включено 54 новых, как уже публиковавшихся в журналах и альманахах, так и обнародованных впервые. Все стихотворения, составившие первую часть, напечатаны под цифрами, без учета времени создания, часто без заголовков, известных по предыдущим публикациям. Видимо, они должны восприниматься как главки лирической биографии поэта, раскрывающие — страница за страницей — этапы его духовной жизни.

Открывает сборник элегия «Финляндия», начинавшая и первую книгу элегий в издании 1827 года. И это закономерно — именно с «Финляндии» пошла истинная слава и популярность Баратынского, именно в ней наиболее ярко проявились особенности творческого

почерка поэта-философа: ей и открывать его биографию. Из новых стихотворений, написанных после поражения декабристов и отразивших напряженные размышления и переживания Баратынского, утратившего прежние идеалы и пытающегося найти другие, в книгу вошли едва ли не все лучшие. Большинство из них имеет отчетливую философскую направленность и добавляет яркие черты к портрету художника-мыслителя. Это знаменитые «Последняя смерть» и «Болящий дух врачует песнопенье...», «Судьбой наложенные цепи...» и «На смерть Гете», «В дни безграничных увлечений...» и «Мой дар убог, и голос мой не громок...», «Не ослеплен я музою моею...» и «Когда исчезнет омраченье...», «К чему невольнику мечтания свободы?..» и «Чудный град порой сольется...». Включено в сборник и знаменитое «Признание» («Притворной нежности не требуй от меня...»), написанное еще в 1824 году, но в издание 1827 года не попавшее. Заключительные строки этого стихотворения хорошо известны многим читателям, даже тем, кто не знает имени автора:

> Невластны мы в самих себе
> И, в молодые наши леты,
> Даем поспешные обеты,
> Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

Несмотря на некоторую тематическую и художественную пестроту, сборник 1835 года имеет несомненное внутреннее единство. Все стихотворения, вошедшие в него, так или иначе обращены к внутреннему миру человека. В каждом из них — будь то элегия или дружеское послание, эпиграмма или ода — поэтически исследуются различные состояния человеческой души. Взятые вместе, они составляют своеобразный психологический портрет человека первой трети XIX века — портрет, философски осмысленный и мастерски выписанный. Конечно, внимательный читатель почувствует, что писался этот портрет в разные времена и разными красками. Но, даже видя некоторую эклектичность их соединения, нельзя не признать, что они близки по составу, по оттенкам.

Безусловно, здесь видна кисть художника-романтика, мечтавшего в юности о высоком и прекрасном, но

с годами растратившем запас «снов золотых» и углубившемся в себя. Не найдя в реальной действительности возможности воплощения своих мечтаний, испытав суровые удары судьбы, потеряв веру в людей и надежду на перемены, он, этот художник, живет сосредоточенной духовной жизнью, ищет наслаждение в искусстве и глубоко хранит свои сердечные идеалы. Именно таким описал себя и свое поколение поэт в письмах к Киреевскому, именно таким и предстал он со страниц сборника, объявив, что «время поэзии индивидуальной прошло, другой еще не созрело».

Сборник 1835 года в том виде, как составил его поэт, в полной мере представляет читателям лирическую биографию Баратынского в целом, но, соединив разножанровые и разновременные стихотворения, не позволяет проследить, как она складывалась. И дело не только в том, что рядом оказываются ранние, далеко не совершенные в поэтическом отношении произведения и более зрелые, являющие истинное лицо поэта. Важнее, что не видна сама логика художественного развития Баратынского, а для понимания его творческого мироощущения в середине 1830-х годов, когда сборник увидел свет, это крайне важно. Попробуем же хотя бы пунктиром обозначить основную линию этого развития.

Баратынский начинал как поэт-элегик, автор дружеских посланий, остроумных надписей в альбом и стихотворений на случай. Темы, жанры, поэтический слог его произведений хотя и выделяли поэта из массы стихотворцев тех лет, но еще не столь отчетливо, как впоследствии. С годами необычность дарования Баратынского проявлялась все сильнее — на привычное он умел взглянуть по-своему, знакомое выразить неожиданно, известное показать с новой стороны. В его поэзии, постепенно освобождавшейся от всеобщего, накапливалось новое качество — вырабатывался особый подход к явлениям, свойственный только ему взгляд на поэтический предмет, неповторимый стиль лирического размышления. Баратынский формировался как поэт-философ, и именно на этом пути, еще не окончательно найденном и осмысленном, он достигал лучших творческих результатов, находил свои темы, свои образы, свой поэтический стиль.

Его склонность к философским обобщениям, умение

за конкретным фактом увидеть проявление закономерности, стремление в слове выявить многомерность и противоречивость явления позволили уже в ранних произведениях выработать свой «метафизический» язык и создать неповторимый сплав поэзии и философии, что и стало основой генеральной линии творческого развития. Обычные поэтические ситуации, привычные слова, переплавляясь в философском горне творческих раздумий и поисков, выходили из-под пера художника обновленными, выявляли глубинный смысл человеческих переживаний и взаимоотношений.

Вот несколько примеров такого философско-поэтического видения, отличавшего поэзию Баратынского в 1819—1825 годах: «Все можно возвратить — мечтанья невозвратны!»; «Я встретить радость мнил — нашел одну печаль»; «Я слишком счастлив был спокойствием незнанья»; «Я все имел, лишился вдруг всего; Лишь начал сон... исчезло сновиденье! Одно теперь унылое смущенье Осталось мне от счастья моего»; «Счастливцы нас бедней, и праведные боги Им дали чувственность, а чувство дали нам»; «И я, певец утех, пою утрату их»; «Не вечный для времен, я вечен для себя»; «Мгновенье мне принадлежит, Как я принадлежу мгновенью!»; «Я, невнимаемый, довольно награжден За звуки звуками, а за мечты мечтами»; «Не упоения, а счастья Искать для сердца должно нам»; «Одну печаль свою, уныние одно, Унылый чувствовать способен»; «Не призрак счастия, но счастье нужно мне»; «Переменяют годы нас И с нами вместе наши нравы»; «Я минувшее люблю И вовек утех забвеньем Мук забвенья не куплю»; «Счастливый отдыхом, на счастие похожим, Отныне с рубежа на поприще гляжу»; «О счастии с младенчества тоскуя, Все счастьем беден я»; «Пусть радости живущим жизнь дарит, А смерть сама их умереть научит»; «Всех благ возможных тот достиг, Кто дух судьбы своей постиг»; «Мы все блаженствуем равно. Но все блаженствуем различно».

Позже, в конце 1820-х — начале 1830-х годов, когда Баратынский оказался перед необходимостью выбора иного творческого и жизненного пути, его поэзия, сохраняя верность прежним кумирам, приобрела новый голос. Поэта уже не обольщают надежды молодости, он познал боль утарат и горечь разочарова-

ний. Но трудно сразу и навсегда отказаться от прошлого, невозможно переменить образ мыслей и чувствований, а потому общий тон его поэзии, становясь более драматичным и серьезным, все-таки далек от трагизма поздней лирики. Лишь отдельные стихотворения этого времени по силе безысходности, по накалу горечи мироощущения являют тот внутренний перелом, который происходит в недрах творчества. Но их пока немного, столь отчетливо указывающих на формирование нового качества поэтической философии Баратынского, — это «Последняя смерть» (1827), «Смерть» (1828), «Отрывок» (1831), «К чему невольнику мечтания свободы?...» (1833), «Когда исчезнет омраченье...» (1834).

В основном же лирика Баратынского в эти годы выказывает желание поэта сохранить прежние идеалы, выстоять под ударами жестокой судьбы, углубясь в себя, находить отраду «в песнях муз и в равнодушии высоком» («Стансы», 1825). Весьма характерно для его художественного мироощущения стихотворение «Из А. Шенье» (1828), в котором противоречия жизни еще разрешимы:

Под бурею судеб, унылый, часто я,
Скучая тягостной неволей бытия,
Нести ярмо мое утрачивая силу,
Гляжу с отрадою на близкую могилу,
Приветствую ее, покой ее люблю,
И цепи отряхнуть я сам себя молю.
Но вскоре мнимая решимость позабыта,
И томной слабости душа моя открыта:
Страшна могила мне; и ближние, друзья,
Мое грядущее, и молодость моя,
И обещания в груди сокрытой музы —
Все обольстительно скрепляет жизни узы,
И далеко ищу, как жребий мой ни строг,
Я жить и бедствовать услужливый предлог.

Но процесс познания жизни и самопознания неостановим. Баратынский, как всегда, честен, смел и беспощаден в своих исканиях истины, какой бы суровой она ни была. И если невозвратность былого, утрата прежних идеалов, неверие в будущее ко времени выхода сборника 1835 года поэтически только осознавались и начинали художественно осмысляться, то

в думах и чувствованиях Баратынского, как явствует из его писем, этот трагический перелом уже совершился. Баратынский-человек в середине 1830-х годов, похоже, опередил в мировосприятии Баратынского-поэта, который, ощущая временную, историческую необходимость иной поэзии, еще не знал, какой она станет... В такой ситуации собрание стихотворений, итожащее сделанное, и казалось ему последним.

Во вторую часть сборника включено 6 поэм, написанных в разные годы: «Эда» (1824-1826), «Пиры» (1820), «Бал» (1825-1828), «Телема и Макар» (1827), «Переселение душ» (1828), «Цыганка» (1829-1830). Они впервые были собраны под одной обложкой, что также, по-видимому, должно свидетельствовать об итоговом характере всей книги. Позже Баратынский поэм не писал, переработанный в 1842 году вариант «Цыганки» при жизни поэта не публиковался. О поэмах Баратынского стоит сказать особо, ибо, находясь в тени его блестящих элегий начала 1820-х годов и прекрасных философских стихотворений конца 1830-х — начала 1840-х годов, они как-то незаслуженно остаются на периферии читательского интереса. А напрасно — и сами по себе, и по положению в поэзии Баратынского эти произведения весьма незаурядны.

Творчески поэмы Баратынского, с одной стороны, как бы подытожили художественные достижения лирики 1820-х годов с ее пристальным вниманием к разнообразным прявлениям внутренней жизни человека, а с другой — отразили процесс развития той самобытной философско-романтической линии его поэзии, которая, освободившись от традиционных элементов, впоследствии стала генеральной. Читая поэмы Баратынского, нельзя забывать и о том, что в конце 1820-х — начале 1830-х годов он много думал о необходимости создания эпического произведения, считая прежние опыты в этом роде, в частности романы, «неудовлетворительными для нашего времени». В одних, как писал поэт Киреевскому, выражаются «только физические явления человеческой природы», в других — «только ее духовность». Нужно, по мнению Баратынского, написать произведение «эклектическое», где «человек выражался и тем и другим образом» и где, «сблизив явления, мы представим их в новом порядке, в новом свете». Таким требованиям, по собственному

признанию поэта и мнению Киреевского, удовлетворяла лишь последняя поэма — «Цыганка». Но художественная подготовка к ней началась, похоже, уже в ранних «Пирах» и нарастала в последующих поэмах.

В «Пирах» счастливо сочетались анакреонтические мотивы, элементы дружеского послания и элегической поэзии раннего Баратынского. Уже сам факт такого соединения, свидетельствующий о намерении автора по-разному обрисовать тему, является многозначительным. Условность традиционных жанровых положений поэмы идейно и художественно скорректирована лирическим «я» поэта, которое сравнительно легко угадывается. Характерный круг поэтических мотивов, близких всему пушкинскому кругу, факты жизни автора, реалии тех лет в тексте поэмы — за всем этим читатели видели самого Баратынского, отторгнутого от друзей и бедствующего в далекой Финляндии, а не условный персонаж. Недаром Белинский назвал «Пиры» «шуткой в начале и элегией в конце», подчеркнув тем самым жизненную правдивость поэмы. И если оценивать ее роль в творчестве Баратынского, то надо признать, что поэма содействовала разработке реалистически мотивированных психологических ситуаций в элегиях поэта.

Схожая творческая задача решалась поэтом и при создании второй «финляндской» поэмы. В «Эде» Баратынский, по собственному признанию, не захотел принять лирико-романтического тона поэм Пушкина и Байрона. Установка на несубъективность изображения проявилась уже в авторском обозначении жанра — «финляндская повесть». Ту же задачу должны были решить внешняя простота темы рассказа, подробные описания природы, повествовательность изложения событий, их неромантическая непрерывность, позволяющая, как выразился поэт, ввести множество «прозаических подробностей». Важными для Баратынского были индивидуализация речи персонажей, которую, как мы помним, высоко оценил Пушкин, и детальный анализ психологии героев. В первую очередь, конечно, самой Эды — здесь в полной мере сказался богатый опыт поэта-элегика. Недаром Пушкин призывал читателей: «Перечтите сию простую восхитительную повесть; вы увидите, с какою глубиною чувства развита в ней женская любовь».

Подготавливая поэму для отдельного издания и перерабатывая ее для включения в сборник 1835 года, Баратынский также стремился максимально снять все более или менее романтические условности. Много работал над образом гусара — исправления касались портретной характеристики, предыстории персонажа. Поэт даже лишил своего героя романтически-расхожего в те годы имени Владимир. Показательно и то, что главным действующим лицом поэмы является простая финляндка Эда, а не гусар, как могло бы быть по романтическому шаблону. Основная гамма сложных душевных переживаний принадлежит именно ей. Закономерно и то, что герой Баратынского попадает в Финляндию не по ставшей уже традиционно-романтической причине бегства от суетного света в нетронутые цивилизацией края, а по службе. Так же и покидает ее. Налицо, таким образом, явная установка на антиромантичность.

Но для создания действительно реалистического произведения Баратынскому не хватило художественных накоплений, хотя некоторые современники, например А. Бестужев, ожидавшие чисто романтической поэмы с высокими романтическими характерами и страстями, были неприятно удивлены обычностью изображаемого. Поэма все-таки прочитывалась романтически, что сразу же почувствовал Пушкин. Не раз сравнивая Эду со своей Черкешенкой и гречанками Байрона, он ясно видел их родовую близость, о чем образно писал 8 декабря 1824 года давнему знакомому по «Зеленой лампе» поэту А. Г. Родзянке: «Что твоя романтическая поэма «Чуп»? Злодей! не мешай мне в моем ремесле — пиши сатиры хоть на меня, не перебивай мне мою романтическую лавочку. Кстати: Баратынский написал поэму (не прогневайся — про *Чухонку*), и эта чухонка говорят чудо как мила. — А я про *Цыганку*; каков? подавай же нам скорее свою *Чупку*...»

Меткое суждение — в нем схвачено главное. По своей художественной ориентации поэма Баратынского, конечно, встала в ряд романтических. Южному колориту пушкинских поэм здесь соответствует северный. В основе конфликта между героями — характерное столкновение нецивилизованной простоты и цельности с искушенностью и бесчувственностью «прос-

вещенного» мира. Даже по составу поэма Баратынского опиралась на жанровый романтический канон — вместо посвящения она имела предисловие, был и эпилог, правда, не схожий с традиционными, но непременный. Сам Баратынский, чувствуя неорганичность поэмы, в январе 1825 года с грустью писал Козлову: «...Вышла у меня лишь рифмованная проза. Я желал быть оригинальным, а оказался только странным!» Но как бы там ни было, и в этой поэме налицо стремление автора соединить в едином изображении внутреннее и внешнее, жизнь души и обстоятельства жизни, т. е. создать, по собственному слову, произведение «эклектическое».

В Финляндии же Баратынский начал работу над третьей своей поэмой. В «Бале» он намеренно отказался от детализации описаний, повествовательность «Эды» сменил «быстрый рассказ», в котором, по выражению Пушкина, набрасывавшего в 1828 году статью о поэме, «поэт с удивительным искусством» соединил «тон шутливый и страстный, метафизику и поэзию». Вновь точное попадание — «Бал» действительно построен на контрастах, понятых многими критиками в традиционно-романтическом смысле, как столкновение героя и среды. Но истинный конфликт поэмы глубже, он — в противоречиях характера главной героини. Княгиня Нина у Баратынского — натура сильная и мятущаяся, обуреваемая страстями и много страдавшая, духовно одинокая и живущая безудержной мечтой о всепоглощающей любви, потеряв которую она уже не может жить. И вновь, как и в «Эде», в качестве «строительного» материала для создания крупного, психологически многомерного образа поэт привлекает опыт своих замечательных элегий. Пушкин проницательно угадал и это: «Нина исключительно занимает нас, — писал он в неоконченной статье «Бал» Баратынского». — Характер ее совершенно новый... для него поэт наш создал совершенно своеобразный язык и выразил на нем все оттенки своей метафизики — для нее расточил он всю элегическую негу, всю прелесть своей поэзии».

Прототипом Нины стала знаменитая светская красавица — Грушенька, Альсина, Фея, Магдалина, как называли ее современники, — А. Ф. Закревская, урожденная графиня Толстая, жена финляндского генерал-

губернатора, в которую были влюблены многие молодые люди, в том числе Баратынский и Путята. «В самой поэме, — признавался поэт другу в письме 29 марта 1825 года, — ты узнаешь Гельзингфорские впечатления. *Она* моя героиня». Аграфена Федоровна была женщиной привлекательной и сумасбродной, презирающей и преступающей светские правила, всем своим существом утверждавшей в реальной жизни тот характер и тип поведения, которым так дорожила романтическая поэзия. Не только княгиня Нина и «рабы томительной мечты» целого ряда лирических стихотворений Баратынского, но и «беззаконные» пушкинские кометы — Мария Кочубей, Клеопатра, Зинаида Вольская — впитали многие черты Закревской.

Естественно, и в поэме этот образ решен в романтическом ключе. Нина — центр повествования, ей — главное внимание автора и читателей, именно она, бунтующая и страдающая, создает то духовное напряжение, без которого немыслима романтическая поэма. Но есть в «Бале» и другой персонаж, играющий немалую роль в накоплении и разрешении романтического конфликта. Это Арсений — «посланник рока», ставший по трагической случайности избранником Нины. Он — полный антипод героини, ее прозаическая противоположность, та случайная маска на жизненном балу, встреча с которой оказывается роковой. Описывая портрет Арсения, рассказывая историю его жизни до встречи с Ниной, рисуя появление в свете и дальнейшую судьбу, Баратынский создает в художественном отношении неожиданный характер. Если для Нины «расточил он всю элегическую негу, всю прелесть своей поэзии», но для Арсения не пожалел всей своей едкости и разящей насмешливости, явно пародируя расхожие псевдоромантические поделки, которые наводнили журналы и альманахи тех лет. Возможно, что в какой-то мере — это «поэмный» аргумент Баратынского в творческом споре с подражателями и эпигонами элегической поэзии.

Для понимания общего смысла поэмы, характера главной героини, истинную романтичность которой оттеняет Арсений, полезно будет присмотреться к этому персонажу повнимательнее. Обычно в нем видят, и не без некоторых оснований, лицо, находящееся в идейной и художественной зависимости от Чацкого и

еще более от Онегина, в лучшем случае, еще одного разочарованного молодого человека, героя времени, столь типичного для первой трети XIX века. Похоже, что и сам Баратынский настойчиво это подчеркивает, как бы возвращая читателей к уже знакомым им ситуациям пушкинского романа. Прежде чем пойти вслед за поэтом, сопоставим хронологию создания обоих произведений — для ориентировки во времени.

Главы с первой по шестую «Евгения Онегина», а именно они «повлияли» на поэму Баратынского, были написаны в 1823—1826 годах, напечатаны в 1825—1828 годах. «Бал» начат в конце февраля — начале марта 1825 года: как раз в феврале увидела свет первая песнь пушкинского романа. Работа у Баратынского шла быстро, и 29 марта он сообщил Путяте: «Стихов 200 уже у меня написано». Это примерно треть общего объема. В апреле того же года поэт делится с Козловым: «Я до половины написал новую небольшую поэму». В октябре 1826 года пишет А. Муханову: «Принялся опять за стихи, привожу к концу «Дамский вечер». В это же примерно время опубликована вторая глава «Евгения Онегина».

В январской книжке «Московского телеграфа» за 1828 год было объявлено, что Баратынский, живущий теперь в Москве, располагает печатать новую свою поэму «Бальный вечер». Однако окончательный вид она приняла только осенью — в октябре, по свидетельству А. Вульфа и Вяземского, Дельвиг привез из Москвы рукопись, которую собирался опубликовать в своих «Северных цветах»[1]. За год до этого — в октябре 1827 года — вышла из печати третья глава пушкинского романа, в январе — феврале 1828-го — четвертая и пятая, в марте — шестая. Таким образом, ра-

[1] Любопытный штрих к отношениям Пушкина и Баратынского. В неоконченной статье о «Бале» Пушкин как о реальном факте пишет, что поэма напечатана в «Северных цветах». Но там — в выпуске на 1828 год — под заголовком «Отрывок из поэмы Бальный вечер» опубликовано лишь около 50 строк, а целиком поэма впервые издана вместе с «Графом Нулиным» в книге «Две повести в стихах». Это значит, что, во-первых, Пушкин прочитал всю поэму до публикации, а во-вторых, зная о намерении Дельвига, начал писать рецензию заранее, ориентируясь на издание альманаха. После своего совместного с Баратынским публичного выступления печатать рецензию Пушкин уже не мог, и потому его отзыв и остался незавершенным.

бота над «Балом» началась одновременно с публикацией первой главы «Евгения Онегина», продвигалась споро и осенью 1826 года была близка к завершению, но приостановилась и завершилась с выходом последующих частей романа.

Похоже, что Баратынский ждал их появления и именно они во многом «питали» его труд: судя по письмам к друзьям и самому Пушкину, он читал роман только по мере публикации отдельных глав. Но, конечно, не о подражании должна идти речь. Зная человеческие и творческие устои поэта, его благоговение перед Пушкиным и ненависть к подражательству, нельзя и допустить подобной мысли. Тем более, как мы уже знаем, в 1828 году «Бал» Баратынского и «Граф Нулин» Пушкина вышли под одной обложкой. Поэма Пушкина — явно иронична и полемична по отношению к расхожим романтическим сюжетам. В этом ей созвучен и «Бал» — именно тем, что говорится об Арсении. Если пристальнее вглядеться, то ясно видно, что совпадения его «линии» с описаниями «Евгения Онегина» — это не повторения или заимствования, но своего рода литературные перевертыши, создающие при внешней серьезности пародийный эффект. Тем самым выявляется истинная внутренняя серьезность характера и поведения Нины. Вот наша первая встреча с героем:

Красой изнеженной Арсений
Не привлекал к себе очей:
Следы мучительных страстей,
Следы печальных размышлений
Носил он на челе; в очах
Беспечность мрачная дышала,
И не улыбка на устах —
Усмешка праздная блуждала.
Он незадолго посещал
Края чужие; там искал,
Как слышно было, развлеченья
И снова родину узрел;
Но, видно, сердцу исцеленья
Дать не возмог чужой предел.

Некоторая романтическая — или, точнее, псевдоромантическая — загадочность героя, описание его судьбы напоминают одновременно и Онегина и Лен-

ского. (Кстати, о путешествии Онегина читатель пушкинского романа узнал только из восьмой главы, начатой в 1829 году, когда «Бал» уже был напечатан, — так что Баратынский отправляет своего героя в чужие края по собственному усмотрению.) Одну из пушкинских портретных зарисовок поэт прямо переадресовывает Арсению — вспомним: «Ни красотой сестры своей, Ни свежестью ее румяной Не привлекла б она очей». Но ведь это — о Татьяне! А вот Олинька из «Бала», та, ради которой Арсений оставил самовластную фею Нину, очень напоминает Ольгу Ларину. Олинька — «с очами темно-голубыми, с темно-кудрявой головой»; Ольга — «глаза как небо голубые; Улыбка, локоны льняные...». Как Ленский был с детства участником «младенческих забав» Ольги, так и Арсений рос с «малюткой Олинькой»: «Я называл ее сестрою, С ней игры детства я делил...» У обоих, повзрослевших, дружеские чувства переросли в любовь.

Интересна дальнейшая судьба Арсения, постоянно «пересекающаяся» то с жизнью Ленского, то с жизнью Онегина. Отношения Олиньки и Арсения, прежде безоблачные, как у Ольги и Ленского, сложились драматично. Друг Арсения, которого он ввел в «счастливый дом», обворожил Олиньку, и наш герой поклялся ему отомстить:

И по желанью моему
Вскипела ссора между нами:
Стрелялись мы. В крови упав,
Навек я думал мир оставить;
С одра восстал я телом здрав,
Но сердцем болен...

На свою беду и Ленский пригласил Онегина на именины Татьяны в дом Лариных. На этом провинциальном празднестве пушкинский герой «поклялся Ленского взбесить И уж порядком отомстить». Дальнейшее хорошо известно: флирт Онегина с Ольгой, обида, ссора, дуэль, смерть Ленского, отъезд и путешествие Онегина, после которого он возвращается в свет, быстрое замужество Ольги. Баратынский как бы смягчает ситуацию: обиженный Арсений, как и Ленский, вызвал друга на поединок, но был лишь ранен и, «с одра восстав», уже, как Онегин, уехал путешествовать.

И вот возвращение. Подобно тому же Онегину, Арсений не нашел на чужбине «сердцу исцеленья». Как Онегин (хотя такого поворота событий Баратынский взять у Пушкина, естественно, не мог), Арсений, вернувшись, увлекся светской дамой, княгиней Ниной. Но далее события развиваются, конечно, иначе. Здесь же, в свете, Арсений встречает Олиньку; он видит, что все его опасения были напрасны: «Она поныне дышит мною, И ревность прежняя моя Была неправой и смешною. Удел решен. По старине Я верен Ольге, верной мне». Не убей Онегин на дуэли друга, Ленский убедился бы в том же. Но бедный поэт умер, так и не познав своего удела. Кстати, слово характерное. Раздумывая о возможной судьбе Ленского, Пушкин рисовал и такую картину:

> А может быть и то: поэта
> Обыкновенный ждал удел.
> Прошли бы юношества лета:
> В нем пыл души бы охладел.
> Во многом он бы изменился,
> Расстался с музами, женился,
> В деревне счастлив и рогат
> Носил бы стеганый халат...

Весьма вероятно, что «удел» Арсения в воображении читателя, уже знакомого с пушкинскими главами, совпадает с таким «обыкновенным уделом». Порукой тому — поразительное сходство Олиньки и Ольги Лариной. Вот уж действительно, зачем выдумывать Арсению другую спутницу, если сказано Пушкиным: «Все в Ольге... но любой роман возьмите и найдете верно Ее портрет...» Самой Олиньке в «Бале» внимания уделено мало, но чего стоит разящий отзыв Нины о ее портрете, в задумчивости набросанном Арсением: «...жеманная девчонка Со сладкой глупостью в глазах, В кудрях мохнатых, как болонка, С улыбкой сонной на устах!» Читатель «Евгения Онегина» легко мог дополнить этот облик чертами Ольги Лариной.

В 1828 году в письме к Дельвигу Баратынский сделал весьма любопытное признание, являющееся по сути ключом к замыслу «Бала»: «Ты мне хорошо растолковал комический эффект моей поэмы и утешил меня. Мне бы очень было досадно, ежели б в «Бале» видели одну шутку, но таково должно быть непремен-

но первое впечатление. Сочинения такого рода имеют свойства каламбуров: разница только в том, что в них играют чувствами, а не словами. Кто отгадал настоящее намерение автора, тому и книгу в руки».

Современники воспринимали «Бал» как самую романтическую поэму Баратынского. Такой она преимущественно видится и сейчас. Характер главной героини, сама суть ее конфликта с жизнью и окружающими, отказ автора от бытовых деталей и сосредоточенность на душевных переживаниях персонажей, порой не связанных с внешними обстоятельствами, наконец, способ разрешения конфликта (смерть Нины от яда) — на всем лежит печать романтической поэзии, обращенной, как говорил Баратынский, не к «физическим явлениям человеческой природы», а к ее «духовности». Правда, и в этом случае поэт стремился создать произведение «эклектическое», изобразив своих героев на фоне прекрасно выписанной, точной и достоверной картины жизни московского света. По меткости и живости это описание ничуть не уступает схожим картинам «Горя от ума» и «Евгения Онегина». Но если там реализм обстоятельств рождал реализм характеров, то у Баратынского они в силу разного происхождения остались несоединенными: романтические характеры живут своей самостоятельной и независимой жизнью в раме реалистических обстоятельств. Это внутреннее противоречие, высоко оценив поэму в целом, удачно обозначил Киреевский в «Обозрении русской словесности 1829 года»: «В «Бальном вечере» Баратынского... нет одной *составной силы*, в которой бы соединились и уравновесились все душевные движения».

Тот же Киреевский полагал, что недостающие «Эде» «пластическая определенность и симметрия», а «Балу» «лирическое единство» соединились в последней поэме Баратынского — «Цыганке», где «главной мысли соответствует одно чувство, выраженное ясно и сильно, развитое в событиях, соответствующих ему и стройно соразмеренных». Характерно, что «Цыганку» критик оценивал как результат последовательного поэмного развития Баратынского. Такое же значение придавал ей и сам поэт. Недаром он снабдил отдельное издание поэмы специальным предисловием, в котором отчетливо высказал свое творческое кредо, а

через год опубликовал «Антикритику», где, возражая рецензентам, отстаивал право и обязанность писателя быть верным человеческой природе и считать истинным только то, что правдиво и полно передает действительность. Именно в этом Баратынский видел настоящее «искусство романиста», призванного составить повесть, поражающую воображение читателей, из обстоятельств обыкновенных, которые в отдельности известны многим. Сходное мнение он высказал в 1831 году и в письме к Путяте: «...Поверь мне, что вообще автор «Эды» сделал большие успехи в своей последней поэме. Не говорю уже о побежденных трудностях, о самом роде поэмы, исполненной движения, как роман в прозе, сравни беспристрастно драматическую часть и описательную; ты увидишь, что разговор в «Наложнице» непринужденнее, естественнее, описания точнее, проще».

Указание Баратынского на романную основу поэмы, его творческий ориентир на труд романиста дают ключ к пониманию замысла «Цыганки» и ее жанрового характера. Именно в ней, опираясь на свой стихотворный и поэмный опыт, как положительный, так и отрицательный, поэт хотел соединить «духовную» и «физическую» жизнь человека, выразить ее «и тем и другим образом», чтобы преодолеть ясно ощущаемую ограниченность романтической — «индивидуальной» — поэзии и создать произведение, отвечающее запросам времени. Увы, не все ему удалось.

Описание утра в квартире главного героя поэмы Елецкого, картины пробуждающейся Москвы, гуляния в Новинском, зарисовки московских бульваров, рассказ о приходе зимы реалистически достоверны, не связаны напрямую, как это свойственно романтическим произведениям, с душевным состоянием персонажей. Выдержаны, как отмечал Белинский, и характеры. Они даны в развитии, довольно подробно говорится о прошлом и будущем всех трех центральных действующих лиц — Елецкого, Веры и цыганки Сары. Поэт по возможности тщательно мотивирует их поведение. Такое внимание к внешней, «физической» стороне поэмы как раз и проистекает от убеждения, что истинность художественного произведения заключается в полноте изображения.

Однако само развитие поэмного действия строится

по законам романтического искусства, и в этом таится зерно художественного противоречия. Нередко обстоятельства, предшествующие главным событиям, остаются «за кадром», сюжет выстраивается прерывисто, поступки персонажей большей частью подчинены не логике характера, а логике авторской мысли, мотивировка их настроений и действий прямо не вытекает из обстоятельств жизни, а оказывается заранее заданной, мотивировки затрагивают лишь внешнее действие, а не глубинные психологические побуждения. Так, рассказывая о прошлом Елецкого, Баратынский указывает, что его разлад с обществом вызван желанием «живее жизнью насладиться», потому герой и расстался на время «с Москвой и Русью», а вернувшись, взял в дом цыганку Сару. Эта предыстория, поведанная в начале второй главы, предваряется авторским комментарием — «странной доли нес он бремя», что как раз и убеждает читателя в заданности характера героя, поступки которого на самом деле проистекают из замысла создателя поэмы.

В таком же романтическом ключе говорится и о возможности перерождения Елецкого: «В душе сберег он чувства пламя». В четвертой главе, исключенной в редакции 1842 года, поэт так объяснял причину необычного поведения своего героя, в котором

> Был дух природно своенравный
> Противший завсегда идти
> Ему по битому пути;
> Сей дух, который отступленья
> Незрелых лет его рождал,
> Мог даже в годы размышленья
> Им обладать — и обладал.

Здесь уже отчетливо слышится мотив «демонических» стихов романтической поэзии. У самого Баратынского в стихотворении «В дни безграничных увлечений...» (1831) появляется «превратный гений», который питал в дни юности поэта «жар восторгов несогласных».

В романтическом плане выдержано и признание Елецкого цыганке Саре: «Хотя другого поколенья, Родня я вашему судьбой. И я, как вы, отвержен светом...» Аналогия с цыганской вольницей и подчеркивание мотива отторгнутости от общества напомина-

ет не только пушкинских «Цыган», но и другие его южные поэмы, а также целый ряд произведений тех лет, в которых герой пытается найти романтическую свободу в среде естественных людей. Под стать Елецкому и Вера Волховская — характер в еще большей степени романтический. В душе у нее «темная мечта», которая и определяет всю дальнейшую жизнь. И Елецкой и Вера видят основу для возрождения в поглощающий все их существо любви: «Уж он искал другого счастья: Души, с которой мог бы он Делиться всей своей душою». Не сумев обрести ее, герои поэмы — и в этой бескомпромиссности они романтически родственны Нине из «Бала» — уже не могут продолжать прежнюю жизнь: от яда (схожий финал) умирает Елецкой, «разум в горе погребла» Сара, «утрачен Верой молодою иль жизнь цвет Иль цвет души».

Любовь стала в поэме той самой «составной силой», которая скрепила чувства, поступки и сами характеры героев. Но, как и в «Бале», их романтическая цельность вступила в художественное противоречие с общей реалистической атмосферой произведения. Вновь романтические характеры не смогли сопрячься с реалистическими обстоятельствами, которые, как и в «Бале», остались лишь прекрасной жизненной достоверной рамой, обрамляющей драматическое повествование, построенное по иным художественным законам. Похоже, именно это имел в виду Белинский, говоря, что «Цыганка» исполнена удивительных красот поэзии, но опять-таки в частностях: в целом же не выдержана.

Через год после окончания поэмы Баратынский[1] сделал еще попытку создания «эклектического» произведения — он написал повесть «Перстень», которую опубликовал во втором номере «Европейца» в 1832 году. И удачи, и недостатки повести схожи с поэмами. Свободная, идущая от живой жизни картина сельской жизни с точными наблюдениями и достоверными штрихами и здесь лишь обрамляет романтически-загадочную историю перстня, дающего обладателю беспредельную власть над людьми. И хотя объясняется вся ситуация вполне правдоподобно, художест-

[1] Примерно тогда же он сообщил Киреевскому и о другом своем замысле: «Начал писать мой роман...» Никаких иных сведений об этой работе нет.

венного правдоподобия в самом повествовании явно не хватает. Недаром сам автор в одном из писем к Киреевскому назвал эту повесть «сказкой». Видимо, в эпическом жанре поэт так и не сумел найти тот новый художественный путь, идти по которому его, как и других чутких мастеров слова, понуждало время.

Он нашел его в лирике — на пути напряженного и бесстрашного познания законов жизни и общества, на пути горьких раздумий о судьбе своего поколения и собственной. Расставшись в сборнике 1835 года со своим «прошлым», философская поэзия Баратынского освободилась, наконец, от всего попутного и временного, обрела в полной мере самобытный голос, стала подлинной поэтической философией, стремящейся дать честные ответы на самые жгучие вопросы современности. Свои ответы на общие вопросы. Лирическая биография поэта, выстроенная им в этом издании, позволяет видеть, что Баратынский, пожалуй, первый из русских поэтов-философов столь отчетливо осознал необходимость решения кардинальных проблем русской жизни последекабристского периода. Это решение придет позже, в стихах страстного и скорбного сборника «Сумерки».

Но уже сейчас, в середине 1830-х годов, сама постановка вопроса о соотношении духовного и материального в человеке и мироздании, мучительные поиски на него ответа, встающие за ними размышления о личной свободе и законах общественной жизни, влиянии обстоятельств на самосознание человека, думы об историческом прогрессе и назначении художника позволяют считать поэзию Баратынского, по праву ставшую у истоков философского течения в русском романтизме и объективно внесшую свою лепту в становление реалистической литературы, серьезным и прогрессивным явлением. И пусть не всегда и не во всем движение творческой мысли поэта совпадает с объективным ходом социального и литературного развития общества, пусть некоторые его суждения о путях развития истории мрачны и ошибочны, само биение живой и пытливой мысли поэта является верным залогом того, что свое жизненное поручение он исполняет честно. Недаром заметил Белинский: «К чести г. Баратынского должно сказать, что элегический тон его поэзии происходит от думы, от взгляда на

жизнь и что этим самым он отличается от многих поэтов, вышедших на литературное поприще вместе с Пушкиным».

Вот такой итог на самом деле подвел сборник 1835 года. «Бессонная» и «чуткая» душа поэта, сберегающая животворный пламень творческого вдохновения, конечно, не могла замкнуться в себе самой и отгородиться от тревожных забот жизни.

Еще, быть может, я возвышу
Мой голос, родина моя!
Ни бед твоих я не услышу,
Ни славы, струны утая.

Ах, как ошибаются те, кто упорно и вопреки реальности все еще числит Баратынского сторонним наблюдателем и самоуглубленным пессимистом!

СНЫ ЗИМНЕЙ НОЧИ

ПОСЛЕДНИЙ ПОЭТ

В марте 1835 года, опередив на месяц «Стихотворения Евгения Баратынского», вышел из печати первый номер нового литературного журнала «Московский наблюдатель». Среди участников журнала и сочувствующих ему литераторов были Е. А. Баратынский, Н. А. Мельгунов, В. Ф. Одоевский, Н. Ф. Павлов, М. П. Погодин, А. С. Хомяков, С. П. Шевырев, Н. М. Языков. К редакции были близки М. Ф. Орлов, П. Я. Чаадаев и И. В. Киреевский. В обсуждении планов принял участие Н. В. Гоголь. По свидетельству современника, Пушкин, поместивший в журнале два стихотворения, сожалел, что его имя при официальном объявлении не указано среди участников, ибо журнал этот «наш, а не шайки Смирдинской».

«Московский наблюдатель» был организован «в складчину» на средства бывших членов кружка «любомудров» и литераторов, близких к кругу Елагиных — Киреевских. Он продолжал традиции «Московского вестника» и «Европейца». Многие участники журнала давно были связаны духовно и дружески. О характере этих связей в начале 1833 года один из литераторов сообщал другу: даже грипп «не мешает нам собираться по пятницам у Свербеевых, по воскресеньям у Киреевских, иногда по четвергам у Кошелевых и время от времени у Баратынского. Два, три раза в неделю мы все в сборе; дамы непременные участницы наших бесед, и мы проводим время как нельзя веселее: Хомяков спорит, Киреевский поучает, Кошелев рассказывает, Баратынский поэтизирует. Чаадаев проповедует или возводит очи к небу...»

Но главной скрепляющей силой стала для участников журнала неприязнь к «торговому направлению», проникшему в литературу, и — шире — к развитию буржуазно-капиталистических отношений, которые, родившись в Европе, начинали захватывать и Россию. Его идейный облик определился уже в первом номере, открывавшемся программной статьей Шевырева «Сло-

весность и торговля». В ней утверждалась принципиальная несовместимость законов художественного творчества и торговой логики, отстаивалось право художника на свободу и независимость от самого духа торгашества и расчета.

Столь же программным было и помещенное в номере стихотворение Баратынского «Последний поэт». Центральная тема его поэтической философии — разобщенности и враждебности духовного и материального — здесь прозвучала столь остро и актуально, столь безысходно, что стихотворение воспринималось как крик души «последнего поэта», «бесполезный дар» которого отвергнут навсегда:

Век шествует путем своим железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.

У некоторых читателей бытует мнение, что и в этих стихах, и в ряде более ранних, и особенно произведениях, вошедших, как и «Последний поэт», в сборник «Сумерки», Баратынский, противопоставляя жизнь духовную и материальную, поэзию и науку, прошлое и современность, выказывает непонимание законов исторического развития, не учитывает закономерности изменения общественного бытия. Думается, такая оценка несправедлива. Считать так — значит выпрямлять и упрощать его истинные взгляды. Баратынский как человек высокой общественной и художественной культуры всегда ясно видел и принимал то благо, которое несет с собой исторический прогресс. Было бы смешно приписывать ему веру в то, что древние нецивилизованные народы в экономическом, политическом и культурном отношении были выше и лучше людей XIX века. Но как художник, врачеватель человеческих душ, как поэт-романтик, впитавший социальные и художественные воззрения своего времени, на историческом опыте и собственном он явно ощущал, что духовный и экономический прогресс — не одно и то же. Он понимал, что жизнь меняет людей и перемены эти неизбежны,

но все дело в том, что результаты перемен виделись ему в негативном плане.

Будучи современником крупных исторических событий — войн, революций, видя вопиющую социальную и духовную несправедливость в собственной стране, подавленное состояние своего народа, Баратынский объяснял это в первую очередь ошибками истории, забвением прежних идеалов. Утрата человеком былой цельности, разобщенность людей, потеря ими истинных ориентиров, главные из которых — добро и красота, воспринимались им как шаг назад. Недаром же он верил в то, что «прекрасное положительнее полезного». Поэт-романтик Баратынский верил, что именно гармония искусства вернет миру и человеку утраченную цельность. Он был убежден, что именно поэзия способна помочь людям в их борьбе с суровой судьбой, что только красота может спасти мир. И эти свои убеждения отстаивал всю жизнь.

Как же конкретно понимал Баратынский роль поэзии и поэта, а значит и свою собственную, в решении сложнейших вопросов бытия — и отдельного человека, и общества в целом? Поэзия всегда была для него источником гармонии, но взгляд на нее, естественно, с годами претерпевал изменения. В ранних произведениях, уже знакомых нам, он признавал самоценность поэзии для пишущего («Финляндия», 1820; «Н. И. Гнедичу», 1823; «Стансы», 1825). Тогда же наметилось и понимание общественной значимости искусства («Отрывки из поэмы «Воспоминания», 1820). Художник, думает Баратынский, не может и не должен замыкаться в себе самом, ибо «любимцы вдохновенья» подобны певцу Орфею и должны петь для других, за что «бессмертие в веках им будет воздаяньем».

В конце 1820-х — начале 1830-х годов Баратынский, оставаясь верным прежним «кумирам» и не сомневаясь еще в возможности построить человеческую жизнь и весь мир по законам красоты и добра, считает, что основой для этого как раз и должна стать гармония искусства. В стихотворении «В дни безграничных увлечений...» (1831), автобиографичном по мысли, по рассказу о зарождении поэтического чувства, Баратынский признается, что еще с детства «соразмерностей прекрасных в душе носил» он идеал. И позже, когда мужал, «страстей мятежные мечты» не смогли затмить перед

ним «законов вечной красоты». Потому-то и появилась уверенность, что открытый им прекрасный мир поэзии возможно обрести и в борениях жизни:

И поэтического мира
Огромный очерк я узрел,
И жизни даровать, о лира!
Твое согласье захотел.

В том же году в письме к другу юности Плетневу Баратынский сильно и выразительно высказывает свое понимание смысла творческой деятельности и ответственности художника за данный ему природой талант: «Знаю, что поэзия не заключается в мертвой букве, что молча можно быть поэтом; но мне жаль, что ты оставил искусство, которое лучше всякой философии утешает нас в печалях жизни. Выразить чувство значит разрешить его, значит овладеть им. Вот почему самые мрачные поэты могут сохранить бодрость духа. Примись опять за перо, мой милый Плетнев; не изменяй своему назначению. Совершим с твердостию наш жизненный подвиг. Дарование есть поручение. Должно исполнить его, несмотря ни на какие препятствия...»

Представление об искусстве как об активной и действенной силе, способной излечить и весь мир, и отдельного человека от «недуга бытия», переродить душу и вернуть ей утерянную цельность, отчетливо заявлено поэтом и в прекрасном стихотворении «Болящий дух врачует песнопенье...» (1834), которое как бы продолжает размышления из письма к Плетневу:

Болящий дух врачует песнопенье,
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.
Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей,
И чистоту поэзия святая
И мир отдаст причастнице своей.

Поэт, для Баратынского, является носителем духовного начала жизни. Он — совесть мира, барометр общественного здоровья и потому должен быть в гуще народной жизни, обязан откликаться на все. Таким идеалом художника стал для Баратынского великий немецкий поэт Гете, вслед за которым русский

поэт-философ утверждал, что поэзия есть высшая ступень познания: «...Ничто не оставлено им Под солнцем живых без привета; На все отозвался он сердцем своим... Крылатою мыслью он мир облетел... Все дух в нем питало... С природой одною он жизнью дышал... Изведан, испытан им весь человек!» («На смерть Гете», 1832).

Таким и должен быть, по Баратынскому, истинный поэт. С такой мерой высоты назначения всегда подходили к художнику и лучшие русские писатели: от авторов древнерусских повестей и сказаний до Державина, Жуковского, Пушкина. Баратынский осознавал себя продолжателем этой великой гражданской традиции. Но, как и его предшественники, а может быть, и еще острее, он понимал, что отношения поэта и общества, живущего по иным законам, верующего в другие «кумиры», очень неоднозначны и сложны. В отличие от многих романтиков, главным образом тех, кто ориентировался в своем творчестве на популярные тогда в России философские постулаты оригинального немецкого мыслителя-идеалиста Шеллинга, он, несмотря на некоторую близость своей поэтической философии ряду положений шеллингианцев — идеи времени! — никогда не считал, что противостояние поэта и общества изначально и неизменно. Для него это расхождение заключалось в характере современной эпохи, в «железном веке».

И потому для Баратынского, всегда стремившегося обрести такое взаимопонимание, ощущение бесплодности своих попыток со временем становилось подлинной духовной катастрофой, трагедией. Этим ощущением пронизаны многие стихи последних лет: «Осень», 1836—1837; «Что за звуки?..», 1841; «На посев леса», 1843 и другие, как вошедшие в сборник «Сумерки», так и написанные позже. Горький вывод, вобравший не только личное, но и общее для целого ряда писателей пушкинской плеяды, подобен гласу вопиющего в пустыне: «...не найдет отзыва тот глагол, Что страстное земное перешел» («Осень»).

Итоги своих раздумий о судьбе поэта в обществе Баратынский подвел в стихотворении «Рифма» (1840), впитавшем все его многолетние надежды и разочарования; оно заключило сборник «Сумерки», в котором тема поэзии и «железного века» была центральной. Первая часть стихотворения отнесена в глубь веков и

посвящена поэту древности. Вторая — судьбе современного художника. Раньше поэт, по Баратынскому, был неотъемлемой частью своего народа, его душой и пророком. Он пел «среди валов народа», и толпа дарила звучные струны своего певца новым вдохновением. А что ныне? Вместо восторга и сочувствия современный поэт встречает «безжизненный сон» и «гробовой хлад». Если древний вития знал, «кто он» и для чего пришел в мир, то его далекий потомок не ведает, чем является поэзия: «смешным недугом» или «высшим даром». Он сам «судия и подсудимый».

Искусство — для людей: оно питается их заботами и мечтами и оценивается ими. Вот урок, который дает Баратынский и читателям и поэтам, которые не раз в будущем пытались вдохнуть жизнь в бесплодную идею «искусства для искусства». Но урок этот не назидателен, а горек, ибо сам поэт в век «промышленных забот» обречен на одиночество:

> Своею ласкою поэта
> Ты, рифма! радуешь одна.
> Подобно голубю с ковчега,
> Одна ему, с родного брега,
> Живую ветвь приносишь ты;
> Одна с божественным порывом
> Миришь его твоим отзывом
> И признаешь его мечты!

В «Рифме» Баратынский как бы сочетал «Пророка» Пушкина, пришедшего в мир, чтобы «глаголом жечь сердца людей», и «Пророка» Лермонтова, изгнанного этими людьми: «Глупец, хотел уверить нас, Что бог гласит его устами!» То, во что верилось пятнадцать лет назад, когда люди еще не расстались с надеждой на обновление жизни, а поэты думали, что их страстное слово и должно быть знаменем этих перемен, сегодня, в начале 1840-х годов, казалось почти утопией, золотым сном, померкшим под ударами непримиримой судьбы.

И все же, к чести Баратынского, на назначение поэта и место поэзии в общественной жизни он всегда смотрел с позиции высокой гражданственности. Ведь не случайны его слова в письме к Киреевскому: «Россия для нас необитаема, и наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления». Ведь не случайно он, как признавался в стихотворении «На посев леса», «дни

извел, стучась к людским сердцам». Веря в преобразующий характер искусства, стремясь с его помощью вернуть миру и человеку утраченную цельность, Баратынский все же с горечью вынужден признать, что не нашел возможности реального преодоления людской разобщенности: «Ответа нет! Отвергнул струны я...» («На посев леса»). А потому и называет свою эпоху «сумерками», ибо, по его сердечному убеждению, со смертью духовного в мире умирает и сама идея человеческой жизни.

Ощущая себя «звездой разрозненной плеяды» и «последним поэтом», Баратынский в конце жизни остро чувствует и свое человеческое одиночество. Нет уже Дельвига, Пушкина, в ссылке Кюхельбекер, в Петербурге Вяземский, Плетнев и Путята, произошел разрыв с Киреевским, пошла полоса отчуждения с московскими литераторами, которые, по словам Плетнева, «клеветали» на поэта и «не ценили его таланта». В эти годы Баратынский, как заметил Гоголь, которого лет десять связывали с поэтом творческая симпатия и теплая дружба, но развела в начале 1840-х годов приверженность к идеям славянофильства, сделался «для всех чужим и никому не близким».

Литературная деятельность Баратынского в конце 1830-х — начале 1840-х годов сократилась. Идейные расхождения с московскими литераторами прервали связи со здешними журналами. После перехода в марте 1838 года «Московского наблюдателя» в руки так называемой «молодой редакции» во главе с Белинским поэт не напечатал в нем ни строчки. Отказался он и от сотрудничества в славянофильском «Москвитянине», редактором которого стал профессор Московского университета М. П. Погодин, а руководителем критического отдела профессор С. П. Шевырев, публиковавшие в основном материалы официально-православного направления. Все написанное Баратынский отсылал в Петербург. Несколько стихотворений появилось в «Отечественных записках», которые возглавил А. А. Краевский, сумевший привлечь к сотрудничеству и литераторов пушкинского круга — Жуковского, Вяземского, В. Ф. Одоевского, Д. В. Давыдова, и писателей нового поколения — Лермонтова, Соллогуба, И. И. Панаева и других. Большинство же было напечатано в пушкинском «Современнике», руководство которым после смер-

ти поэта перешло к П. А. Плетневу, профессору Петербургского университета, критику и поэту, давнему другу Баратынского. Так он дал понять и читателям и писателям, что по-прежнему считает себя представителем и продолжателем пушкинского направления в литературе.

Много времени и сил по-прежнему отбирали семейные заботы и хозяйственные хлопоты. Они особенно возросли после смерти в 1836 году тестя поэта и женитьбы в 1837 году Путяты на С. Л. Энгельгардт, сестре жены Баратынского. Теперь управление всеми усадебными делами легло исключительно на него, и поэту приходилось буквально разрываться, чтобы распорядиться и в тамбовской Маре, и в казанских Каймарах, Атамыше и Вознесенском, и в тульском Скуратове, и во владимирском Глебовском. Сохранились его письма к жене и Путяте, дающие впечатление об изнурительности частых поездок и связанных с делами беспокойств: доходы были невелики, а семьи все росли, многие имения заложены, приходилось постоянно брать значительные займы, вести расчеты с кредиторами, Опекунским советом... До литературы просто руки не доходят.

С середины 1830-х годов Баратынский неотступно думает о большой заграничной поездке с семьей. Ему физически и морально трудно оставаться в Москве, в которой он уже не имеет ни одного дружеского лица и которой — ох, не напрасно! — так опасался еще в 1820-е годы, переезжая сюда на жительство. Мечтает вначале отправиться в Германию (поэту-философу крайне интересно встретиться с тамошними учеными мужами, о которых много слышал от Киреевского, посетившего Берлин, Дрезден и Мюнхен в 1830 году), потом в благословенную Италию, мечту о которой с детства заронил в душу «дядька-итальянец» Джьячинто Боргезе... Но материальное положение семьи заставляло то и дело откладывать исполнение задуманного, а потом на время и вовсе отказаться от поездки.

Зато появляется мысль о «внутреннем» путешествии — в 1839 году семья Баратынских готовится надолго уехать для лечения в Крым. «Это давнишнее наше желание, — пишет поэт Путяте в начале года, намереваясь передать ему управление общим хозяйством, — к тому же морские ванны жене и мне необходимы. Если мы для чего-нибудь едем, то это для здоровья». О том же — в письме Плетневу: «Я теперь в суетах, проис-

ходящих от приготовлений к большому путешествию. Я еду с семейством на южный берег Крыма, где проведу около полутора года. Хочется солнца и досуга, ничем не прерываемого уединения и тишины, если возможно, беспредельной. Думаю опять приняться за перо и, если все, что скопилось у меня в уме и легло на сердце, найдет себе исход и выражение, надеюсь быть добрым слугою «Современника».

Но и Крым остался лишь мечтою — поездка не состоялась. Зато поэту удалось съездить в Петербург, в последние годы властно манивший его. Там, считает он, — истинная поэзия и ученость, все лучшее, что есть в духовной русской жизни, там, наконец, друзья юности и люди, сердца которых открыты ему. 30 января 1840 года Баратынский выехал в Петербург и, совершив трехдневный переезд, вновь увидел столицу, с которой связано столько воспоминаний и сопряжено немало будущих надежд. Его радушно встретила семья Путяты, что крайне обрадовало. Повидался поэт и с братом Ираклием, который сделал военную карьеру и дослужился, как и отец, до чина генерал-лейтенанта, занимая в разное время посты ярославского и казанского военного губернатора и став в конце концов сенатором. Ираклий, кстати, успешно закончил тот самый Пажеский корпус, который в свое время отринул его старшего брата.

Многочисленные, чуть ли не ежедневные, письма Баратынского к жене составили своеобразный дневник его петербургского житья-бытья. Самые яркие страницы — встречи со старыми друзьями. Среди них, конечно, Плетнев, Жуковский, Вяземский, Соболевский, В. Ф. Одоевский. «Мой добрый, мой милый Плетнев, — сообщает поэт Анастасии Львовне 4 февраля, — ...ни в чем не изменился: ни в дружбе ко мне, ни в общем своем святом добродушии. Звал меня во вторник обедать *вдвоем.* Не правда ли что этот зов целая характеристика?.. Вздыхает по старым товарищам... Звал меня на житье в П-бург». «На другой день (вчера), — рассказывает Баратынский в следующем письме, — я был у Жуковского. Провел у него часа три, разбирая ненапечатанные новые стихотворения Пушкина. Есть красоты удивительной, вовсе новых и духом и формою. Все последние пьесы его отличаются, чем бы ты думала? Силою и глубиною!.. У меня не-

сколько раз навертывались слезы художнического энтузиазма и горького сожаления».

В Петербурге Баратынский познакомился с М. Ю. Лермонтовым, «который прочел прекрасную новую пьесу» и показался ему «человеком без сомнения с большим талантом», поэтом-юмористом И. П. Мятлевым, автором забавных «Сенсаций и замечаний г-жи Курдюковой за границей...», В. А. Соллогубом, читавшим свою повесть «Тарантас», А. О. Ишимовой, чья «История России в рассказах для детей» вызывала восхищение Пушкина. Но эти встречи не произвели на поэта особого впечатления: «Здесь, — сообщил он жене, — еще меньше заботятся об отечественной литературе нежели в Москве».

Зато огромное удовольствие доставило ему посещение театров, особенно Большого, где в то время танцевала знаменитая французская балерина Мария Тальони. Это, восторженно делится с женой Баратынский, «выше всякого чаяния. Смесь страсти и грации, которых нельзя описать; надобно видеть. Неожиданность, прелесть, правда поз; дух захватывает». Ни с чем не сравнимое восхищение от знакомства в Академии художеств с картиной К. П. Брюллова «Последний день Помпеи». Еще в 1836 году в Москве Баратынский принимал участие в чествовании Брюллова и даже сочинил небольшой гимн по случаю знакомства с живописцем:

Принес ты мирные трофеи
С собой в отеческую сень, —
И был последний день Помпеи
Для русской кисти первый день!

Но картину видел впервые. «Все прежнее искусство бледнеет перед этим произведением, — пишет поэт Анастасии Львовне, — но одно искусство, а не сущность живописи. Колорит, перспектива, округлость тел, фигуры, выходящие как будто вон из полотна, все это выше всякого описания; но я думаю, что изучающий Рафаэля, Микельанджела, Тициана, найдет в них больше мысли, больше красоты». Да, взыскательности и проницательности Баратынскому не занимать!

Часто бывает он и в свете, заводя новые знакомства или возобновляя старые. Особенно хорошо чувствует себя в салоне дочери знаменитого писателя и

историографа С. Н. Карамзиной. У нее, как заметил современник, была «самая остроумная и ученая гостиная в Петербурге», где «все, что было известного и талантливого в столице, каждый вечер собиралось». Именно здесь поэт встретил вдову великого друга Н. Н. Пушкину, которая «все так же прелестна» и с которой он радостно «возобновил знакомство».

Вообще в Петербурге Баратынский чувствовал себя превосходно. Ощущая «благорасположение всего здешнего общества», он в письмах к жене постоянно сравнивает атмосферу столичной жизни, «полной непринужденности и учтивости, обратившихся в нравственное чувство», с московскими дрязгами и с удовольствием отмечает, что «здесь о наших сопостатах никто и не поминает». Эти две-три недели словно возродили его, укрепив в давнем желании переселиться на берега Невы.

Но выбраться из Москвы Баратынские несмотря на все желание — весной 1840 года Анастасия Львовна с младшими детьми даже ездила в Петербург, чтобы выяснить возможность переезда, — пока не могут. Осенью родился их последний ребенок — дочь Зинаида. Врачи вновь рекомендуют юг. Ни на это путешествие, ни на Петербург нет денег. «Со всех сторон, — пишет осенью того же года Баратынский Путяте, — такие дурные вести и наступающий год так грозен бедностью доходов и предлежащими расходами, что мы решились отказаться от П-бурга и провести нынешний год в деревне».

Вновь хозяйственные заботы захватили поэта. Осенью 1841 года он начал строить большой жилой дом в бывшем имении тестя Мураново. Старый был разобран. На этом месте по чертежам самого Баратынского и под его непосредственным руководством стали возводить новый, который мог бы вместить всю большую семью, живущую в период строительства у своих ближних соседей в Артемове. С радостью и тщанием занимается Баратынский воспитанием детей. Он выписал для них хороших учителей, в том числе рисования и музыки. Наш дом, сообщал поэт матери, походит на маленький университет. Старшие дочь Саша и сын Лев обнаружили хорошие способности к музыке, а Саша еще и к рисованию. Лев и младший Николай начинали сочинять. По поводу первой «сти-

хотворной этюды» Льва счастливый отец в 1841 году написал удивительно светлое стихотворение «Здравствуй, отрок сладкогласный!», в котором приветствовал «возникшего пиита».

Вообще Баратынский, как и его родители, оказался добрым и ласковым отцом. Старший сын вспоминает позже, что дети в семье воспитывались «очень мягко, почти слабо»: «Телесных наказаний не было и в помине, детей даже не ставили в угол; наказания для провинившегося состояли в лишении за столом сладкого или еще одного блюда. Отец на детей никогда почти не сердился, прикрикивал на них очень редко и вообще относился к ним нежно; разговаривал он с ними серьезно, а со старшими детьми своими поэт старался держать себя как с друзьями, почти на товарищеской ноге». Любопытная деталь: на втором этаже нового мурановского дома в классной комнате, где дети занимались, не было окон. Лишь одно большое — на потолке, для света. Видимо, это сделано с таким умыслом, чтобы дети во время учебы не отвлекались и не глазели по сторонам. Недаром они называли комнату «тужиловкой».

Баратынский очень полюбил тихое и уютное Мураново. Не имея пока возможности перебраться в Петербург, он думал обосноваться здесь постоянно, чтобы как можно реже бывать в неприветливой Москве. Восхищала его и здешняя природа — поля, перелески, рощи, пруд перед домом. Об этих близких сердцу местах, как бы пророчествуя, еще в 1834 году поэт сложил удивительно сердечное стихотворение «Есть милая страна, есть угол на земле...»:

Я помню ясный, чистый пруд;
Под сению берез ветвистых,
Средь мирных вод его три острова цветут;
Светлея нивами меж рощ своих волнистых,
За ним встает гора, пред ним в кустах шумит
И брызжет мельница. Деревня, луг широкий,
А там счастливый дом... туда душа летит,
Там не хладел бы я и в старости глубокой!
Там сердце томное, больное обрело
Ответ на все, что в нем горело,
И снова для любви, для дружбы расцвело
И счастье вновь уразумело.

Кто бывал в Муранове — не может не поражаться точности и искренности поэта. В этих строках живет сама жизнь, сама душа Баратынского.

ДАРОВАНИЕ ЕСТЬ ПОРУЧЕНИЕ

В который раз уже неотложные домашние заботы нарушили его планы и отвлекли от литературных трудов и в который раз он остался верен своему истинному предназначению. Баратынский, как ни хлопотно и ни трудно, не расстается со стихами. Даже когда нет уединения и покоя, чтобы выразить на бумаге все, что лежит на сердце и облекается рифмами, он в душе носит идеал «соразмерностей прекрасных» точно так же, как, находясь вдали от друзей, не изменяет дружбе и верно ей служит в воспоминаниях и мечтах.

О его внутренних настроениях ярко свидетельствует письмо Плетневу в августе 1842 года: «Обстоятельства удерживали меня теперь в небольшой деревне, где я строю, сажу деревья, сею, не без удовольствия, не без любви к этим мирным занятиям и к прекрасной окружающей меня природе; но лучшая хотя отдаленная моя надежда: Петербург, где я найду тебя и наши общие воспоминания. Теперешняя моя деятельность имеет целию приобрести способы для постоянного пребывания в Петербурге, и я почти не сомневаюсь ее достигнуть. С нынешней осени у меня будет много досуга и если бог даст, я снова примусь за рифмы. У меня много готовых мыслей и форм и хотя полное равнодушие к моим трудам ГГ журналистов и не поощряет к литературной деятельности, но я, божию милостию, еще более равнодушен к ним, чем они ко мне».

После выхода сборника 1835 года Баратынский написал немного, но все написанное серьезно отличалось от того, что было раньше, и, по ощущению поэта, властно просилось в книгу. Баратынский понимал, что публикации в «Отечественных записках» и «Современнике» в силу его непопулярности у широкого читателя пройдут почти не замеченными или доставят радость лишь близким друзьям и знакомым. А между тем именно в эти годы из-под пера вышли такие серьезные поэтические создания, как «Приметы», «Мудрецу», «На что вы, дни!..», «Толпе тревожный день приве-

тен...», «Все мысль да мысль!..», «Осень», «Благословен святое возвестивший!..» и другие. Все они, неся новое качество его поэзии[1], внутренне тяготели друг к другу и, собранные вместе, могли явить читателям такого Баратынского, которого еще не знали.

Собираясь зимой 1840 года в Петербург, поэт помимо желания увидеть родных и старых друзей рассчитывал обсудить и деловые замыслы. «Есть также одна более серьезная причина, — сообщал он перед отъездом матери, — мне представился благоприятный случай выгодно продать Смирдину — единственному из наших издателей, обладающему капиталами, — право на третье издание моих рифм, присовокупив к ним грех еще одного тома». Предприятие это по неизвестным причинам не осуществилось, как и желание выпустить у Смирдина предыдущий сборник, но показательно намерение Баратынского стихам последних лет отвести отдельный том, не смешивая их с уже «сложившейся» поэтической биографией, обнародованной в 1835 году.

И все же мечта поэта сбылась — весной 1842 года в Москве вышла тоненькая книжечка под названием «Сумерки. Сочинение Евгения Боратынского», включавшая 26 стихотворений, написанных за период с 1834 по 1841 год[2]. Ни одно из опубликованных в сборнике 1835 года сюда не вошло.

Первое, что должно было удивить читателя, взявшего эту книжечку в руки, — написание фамилии поэта через «о». Два других прижизненных сборника выходили под именем Баратынского. Все без исключения стихотворения, включенные в «Сумерки», при публика-

---

[1] На это в 1837 году проницательно указал читателям Шевырев, рецензируя в «Московском наблюдателе» стихотворение «Осень», а в сущности оценивая изменившееся направление поэзии Баратынского: «Редки бывают ее произведения; но всякое из них тяжко глубокою мыслию, отвечающею на важные вопросы века. Баратынский был сначала сам художником формы; вместе с Пушкиным, рука об руку, по живым следам Батюшкова и Жуковского, он содействовал окончательному образованию художественных форм стихотворного языка. Но теперь поэзия Баратынского переходит из мира прекрасной формы в мир глубокой мысли: его Муза тогда только заводит песню, когда взволнована, потрясена важною, таинственною думою. Она вносит в этот новый мир красоту прежних форм; но эти формы как будто тесны для широких дум поэта».

[2] В сборник поэт включил 27 стихотворений. «Коттерии» было изъято цензурой.

ции в «Отечественных записках» и «Современнике» были подписаны «Баратынский». Почему же Боратынский? Так, за небольшим исключением, он подписывался в письмах или деловых бумагах, т. е. выступая как частный человек — сын, друг, муж, знакомый, помещик. Баратынский — это его поэтическое имя, которое знали читатели, а не узкий круг лиц, которое употребляли критики и под которым он вошел в поэзию и в историю русской литературы. Значит, «Сумерки» — это прежде всего слово человека, который в стихах выражает свое *личное* мнение о современной эпохе, о судьбе поэзии в «железный век», о той духовной ночи, которая опускается на землю, когда на ней не остается места красоте[1]. Оттого и просьба к Плетневу при посылке ему в мае 1842 года сборника: «Не откажись написать мне в нескольких строках твое мнение о книжонке, хотя почти все пьесы были уже напечатаны; собранные вместе, они должны живее выражать общее направление, общий тон поэта».

Книга открывалась, как мы уже знаем, посланием «Князю Петру Андреевичу Вяземскому», которое по своему характеру также должно было подчеркнуть ее *личностный* смысл. «Вам приношу я песнопенья, Где отразилась жизнь моя», — обращается поэт к Вяземскому, сразу создавая настрой доверительного разговора двух старых друзей, представляющих ныне «разрозненную плеяду». Эта жизнь, продолжает Баратынский, «исполнена тоски глубокой, Противоречий, слепоты, И между тем любви высокой, Любви добра и красоты». И уже не только к Вяземскому, но и к каждому читателю, открывшему книгу, адресовано откровенное, биографически точное признание — самоотчет о своих нынешних переживаниях и настроениях:

Счастливый сын уединенья,
Где сердца ветренные сны
И мысли праздные стремленья
Разумно мной усыплены;
Где, другу мира и свободы,
Ни до фортуны, ни до моды,

[1] Первоначально Баратынский хотел назвать книгу «Сон зимней ночи».

Ни до молвы мне нужды нет;
Где я простил безумству, злобе
И позабыл, как бы во гробе,
Но добровольно шумный свет, —
Еще, порою, покидаю
Я Лету, созданною мной,
И степи мира облетаю
С тоскою жаркой и живой.

Не правда ли, эти строки очень близки известному нам стихотворению «Вот верный список впечатлений...», которым Баратынский думал открыть сборник 1835 года. Но тогда для подобных откровений время, видимо, еще не наступило. Тогда с рассказом о своей духовной биографии к читателям обратился *поэт* Баратынский, который пока не мог или не хотел ставить отчетливый знак равенства между миром собственной поэзии и тем внутренним сердечным миром, что его порождал. Теперь же со страниц «Сумерек» звучало открытое слово Баратынского-*человека*.

Обратите внимание на самохарактеристику поэта. Называя свою жизнь исполненной «любви высокой, любви добра и красоты», а себя самого «другом мира и свободы», Баратынский с первых же строк книги стремится дать читательскому восприятию верные ориентиры. Он словно хочет подчеркнуть, что трагизм его лирических размышлений рожден не изначально мрачным взглядом на жизнь, в чем упрекали поэта некоторые критики, а проистекает от трагичности самой жизни, несправедливости ее законов. «Жаркая», и «живая» тоска по духовному, которая движет чувствами и помыслами поэта, не позволяет, признается читателям Баратынский, равнодушно уйти в себя и перестать интересоваться всем, что происходит в мире. А потому вся книга — и об этом, по замыслу поэта, сразу же должны были узнать читатели — еще одна попытка достучаться до людских сердец, разбудить их дремлющий ум и сонную душу, еще одна попытка честно исполнить данное природой поручение — «глаголом жечь сердца людей».

«Сумерки» — это взволнованный монолог поэта, рассказывающего своему читателю о самом для себя главном, вводящего читателя в самую гущу своих сокровенных дум. Это уже действительный итог мно-

голетних поисков ответа на труднейшие жизненные вопросы. Итог размышлений о самом себе как о поэте и о людях, которым он призван сказать слова правды о них самих, о законах той жизни, по которым они живут.

В сборнике нет, пожалуй, ни одного мотива, который так или иначе раньше не звучал в стихах Баратынского. Здесь все составные его поэтические философии, что вызревали на протяжении ряда лет, приобретая иную, соответствующую общему настрою книги окраску, образовали удивительный сплав философской поэзии, ставшей для русской литературы настоящим откровением, предвосхитившей многие озарения великих наших художников-мыслителей прошлого столетия. Вот, к примеру, проблема мысли, которая, пожалуй, ни у кого из писателей не стояла столь остро, как у Баратынского. Мысль, считает он, противоречива, двойственна по своей природе. С одной стороны, она — первопричина слова. Как «резец, орган, кисть» являются инструментами скульптора, музыканта и художника, так и слово, порожденное мыслью, служит поэту. Недаром Белинский считал, что Баратынский «мыслил стихами». В этом плане, говоря о мысли, поэт понимает под ней все доступное творческому выражению. Мысль есть средство художественного познания, результатом которого является образ, воплощенный в слове. Здесь предопределенная, извечная связь художника слова с мыслью.

С другой стороны, мысль рациональна. Она подвергает сомнению истинность созданного воображением идеального мира, постоянно возвращает поэта к чуждой действительности, разрушает «чудный град» фантазии и этим враждебна чувству, мечте. Не случайно «цвет бытия», т. е. полнота жизненных ощущений, всегда соотносился для Баратынского с «пламенным сердцем», а «холодная дума» — с «сердца мертвой тишиной» («Подражание Лафару», 1820; «Когда исчезнет омраченье...», 1834). Рациональность мысли чужда «святой поэзии» («Последний поэт», 1835), она заставляет человека вдаваться в «суету изысканий», принуждает к рассудочному познанию жизни. А оно, по мнению Баратынского, не применимо к природе, которая органична и одухотворена (тут поэт чистосердечно разделяет взгляды на природу и цивилизацию

французского философа и писателя Ж.-Ж. Руссо и идеи Шеллинга, близкие русским романтикам). Анализирующая мысль, по его убеждению, не в состоянии проникнуть в тайны природы, только чувство способно постичь ее душу («Отрывки из поэмы «Воспоминания», 1820; «Запустение», 1834; «Приметы», 1839). Но, объявляя войну холодному разуму, Баратынский отчетливо понимает трагизм этой борьбы: мысль враждебна и неотделима от его деятельности. Найти решение этой проблемы он не может («Все мысль да мысль!..», 1840).

Монологический, личностный характер сборника «Сумерки» подчеркнут и тем, что все включенные в него стихотворения лишены привычных жанровых примет. Объединенные единым образом лирического героя, сознание которого идентично авторскому сознанию, они практически освобождены от идейных, композиционных и стилевых условностей, свойственных произведениям с отчетливо выраженными жанровыми признаками. Все в них подчинено общей поэтической установке на максимально точное выражение авторской мысли, передаче ее нюансов. Потому-то каждое стихотворение и воспринимается не само по себе, а как часть общего высказывания. Конечно, его смысловые оттенки требуют и своих выразительных средств. В торжественный, ораторский тон книги, насыщенной в целом приметами «высокого штиля», образно и стилистически архаизированной, вплетаются то публицистическая резкость критической статьи, то философская насыщенность отвлеченного размышления, то драматизм балладного стиха, то антологические или элегические мотивы. Но все они внутренне организованы и не разрушают, как это случилось со сборником 1835 года, художественного и смыслового единства.

Лирические персонажи каждого стихотворения живут в своей системе координат. Это и свидетели событий древности, и люди современной поэту эпохи, это и герои, близкие ему по духу и образу мысли, и существа, вызывающие его смех или негодование. Но за каждым из них, чего не могло быть в правоверной жанровой лирике, теперь стоит единый, целостный облик человека, потерявшего связь со временем, не нашедшего в современном обществе той гармоничности, которая была свойственна миру прошлого, отношениям людей между собой, их связи с природой и понима-

нию искусства. Это истинно романтический герой, несущий в себе как следы общеромантических воззрений и художественных представлений века, так и отчетливо выказывающий свое русское происхождение. Ибо по масштабу и глубине своей «мировой скорби», по страстности и напряженности размышлений, по максимализму чувств он может быть уподоблен лишь героям Достоевского и Льва Толстого. И этот человек, настойчиво призывающий своих современников по древнему прообразу слить воедино два начала мира — духовное и материальное, понимающий тщетность своих устремлений и не видящий возможности в будущем изменить мир, а потому и глубоко скорбящий, решительно и бесстрашно признается себе самому и читателям: «Перед тобой таков отныне свет, И в нем тебе грядущей жатвы нет!» Потому-то один из современников Баратынского, характеризуя его поэзию, точно указал, что автор «Сумерек» «в своем втором периоде возвел личную грусть до общего, философского значения, сделался элегическим поэтом современного человечества».

Читатели, как и предчувствовал Баратынский, не услышали его призывов и встретили книгу равнодушно. По свидетельству М. Н. Лонгинова, чьи библиографические разыскания очень помогли семье поэта подготовить в 1869 году первый посмертный сборник произведений и писем, она «произвела впечатление привидения, явившегося среди удивленных и недоумевающих лиц, не умеющих дать себе отчета в том, какая это тень и чего она хочет от потомков». Вновь современники «упустили» Баратынского и, посчитав его устаревшим, не смогли понять и оценить тот огромный художественный вклад, который он внес своим сборником в сокровищницу отечественной культуры.

Лишь немногие внимательные читатели и друзья по достоинству оценили страстное слово поэта, который, как отметил в рецензии на книгу Плетнев, несмотря ни на что не может разлучиться с поэзией, «живущей в душе его». Через Плетнева Баратынский направил в Петербург немало экземпляров сборника в подарок людям, которые — знал — поймут его. Это — Вяземский, Софья Карамзина, Н. Н. Пушкина, брат поэта Л. С. Пушкин, его сестра О. С. Павлищева, Соболевский, А. И. Тургенев...

Но нашлись и другие проницательные читатели, сумевшие понять смысл поэтического и гражданского труда Баратынского. В одном из номеров «Отечественных записок» за 1842 год было опубликовано сообщение о выходе сборника и сказано, что «это обстоятельство дает нам повод поговорить в особой статье о всей поэтической деятельности такого замечательного лица в русской литературе, как г. Баратынский...». Вскоре журнал напечатал большую статью Белинского «Стихотворения Е. Баратынского», в которой дана яркая и объемная характеристика творчества поэта. Известно, что Белинский еще в «Телескопе» рецензировал сборник Баратынского, выпущенный в 1835 году. Тогда его отзыв был весьма критичным. Теперь же, самым серьезным образом пересмотрев свои взгляды, великий критик с искренним расположением к поэту разъяснил читателям особенности его художественных исканий.

Не все в поэзии Баратынского разделял Белинский, не все его убеждения казались критику бесспорными и отвечающими задачам времени. Но, отделив зерна от плевел, он чрезвычайно высоко оценил саму суть глубокого и рожденного эпохой поэтического слова Баратынского. Именно в этой статье Белинский дал подробную и доказательную характеристику творческой манеры поэта, подчеркнув, что он по самой натуре своей «призван быть поэтом мысли». Именно здесь, сказав, что во многих стихотворениях Баратынского мысль поэта «является в скорбях рождения», выходит «не из праздно мечтающей головы, а из глубоко растерзанного сердца», Белинский верно заметил, что противоречия поэзии Баратынского, его романтическая вражда к мысли и истине появились не случайно — они заключались в сердцевине той эпохи, которую он выразил. И именно здесь Белинский высказал пророческую оценку, определившую место автора «Сумерек» в русской литературе: «Из всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место бесспорно принадлежит г. Баратынскому».

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С БУДУЩИМ

Весной 1842 года семья Путяты отправилась в путешествие по Италии. Это событие оказало на Баратынского, давно, как мы знаем, стремившегося

переменить обстановку, решительное влияние. Он с семьей, дождавшись возвращения друга, которому собирался передать ведение хозяйственных дел и поручить присматривать за младшими детьми, ранней осенью 1843 года отбыл в столь долгожданную поездку. Сказочная Италия представлялась поэту земным раем, который излечит его ото всех душевных и телесных немочей. К тому же жизнь в Москве стала просто невыносимой, а строительные и усадебные работы в Муранове не только радовали, но и подтачивали силы.

По дороге Баратынские заехали в Петербург, где пробыли несколько дней. Здесь поэт с какой-то особой радостью встретился с Плетневым, Вяземским, Соболевским, Одоевским. Строились планы будущей петербургской жизни, литературной работы. «Баратынский требует, — писал Плетнев своему другу Я. К. Гроту, — чтобы я не прекращал журнала до его прибытия. Он намерен тогда соединиться со мною и работать деятельно». Об этом же после смерти поэта сообщал и Коншину. «Перед отъездом за границу много он толковал со мной о будущем. Он непременно хотел соединиться со мною для работ по «Современнику», почувствовав, что только журналом можно противодействовать возрастанию бесстыдного самохвальства невежд». Судя по всему, эти планы непременно должны были осуществиться...

Обговорив с Путятой все деловые вопросы и оставив на его попечение младших детей, Баратынский, Анастасия Львовна и старшие Саша, Лев и Николай в шестиместном дилижансе выехали из Петербурга. От Кенигсберга до Берлина добирались на почтовых. Из Берлина съездили в Потсдам, где осмотрели дом Вольтера. Во время этой экскурсии, как сообщает поэт матери, «первый раз испытали впечатление железной дороги». Из Берлина отправились в Лейпциг, а оттуда по железной дороге — в Дрезден. И вновь восторг открытия. «Я очень наслаждаюсь путешествием и быстрой сменою впечатлений, — признается Баратынский Путяте. — Железные дороги чудная вещь. Это апофеоза рассеяния. Когда они обогнут всю землю, на свете не будет меланхолии». Вроде бы мелочь, но какая характерная. И этого человека объявили врагом прогресса! А ведь он как раз и хотел, чтобы прогресс ма-

териальный не отторгал человечество от ценностей духовных.

В Дрездене Баратынские побывали в знаменитой картинной галерее. Самые глубокие впечатления — от картин Рафаэля и Тициана. «Отсюда, — делится планами Баратынский с матерью, которой, как и Путятам, дает регулярный отчет о путешествии, — мы возвращаемся в Лейпциг, там возьмем дилижанс до Франкфурта, из Франкфурта отправимся в Майнц, спустимся по Рейну до Кельна, потом по железной дороге в Брюссель, а оттуда в Париж».

В конце ноября Баратынские прибыли в столицу Франции, где остановились на зиму, наняв учителей для занятий с детьми. Поэт поселился в центре города, откуда было легко добраться в Сен-Жерменское предместье, где жили многие его знакомые.

Парижская жизнь Баратынского наполнена всевозможными встречами, знакомствами, впечатлениями. «Я много слушаю и много читаю», — пишет он Путяте в ноябре 1843 года. Интерес поэта к умственной жизни Франции, к которой он благодаря Вольтеру прикоснулся еще в детстве, неподделен. Но все же она утомительна и не столь сердечна, как на Родине. «Хорошо, что я проведу в Париже одну только зиму, — признается поэт другу в следующем письме, — а то из человека с некоторым смыслом я бы сделался совершенным зевакой, а что хуже — светским человеком... Несмотря на приветливость лиц, на новость явлений, чувствуешь недостаток прямых отношений...» И уж совсем отчетлива эта мысль в письме начала 1844 года: «Моя здешняя жизнь тоже не восхитительна. Буду доволен Парижем, когда его оставлю. Для чужеземца, не принимающего ни в чем страстного участия, холодного наблюдателя, светские обязанности, дающие пищу одному любопытству, часто обманутому в своих ожиданиях, отменно тяжелы. Бываю везде, где требуется, как ученик в своих классах. Масса сведений и впечатлений, конечно, вознаградит меня за труд, но все-таки это труд, а редко-редко наслаждение».

А бывает Баратынский, действительно, везде: и в светских салонах, и в республиканских кругах, и в обществе литераторов. Имя его как поэта во Франции было известно — еще в 1827 году критик Э. Эро опубликовал рецензию на «Эду» и «Пиры», где высказал немало

похвальных слов о поэте, а в 1843 году, незадолго до приезда Баратынского в Париж, известный путешественник и литератор Кс. Мармье поместил в одном из парижских журналов большую статью о русской литературе, в которой тепло отзывался о нем. По просьбе своих новых знакомых Баратынский перевел на французский язык около двадцати написанных ранее стихотворений. Прозой переведены «Фея», «Все мысль да мысль!..», «К чему невольнику мечтания свободы?..», «В дни безграничных увлечений...», «Рифма», «Последний поэт», «На смерть Гете», «На что вы, дни!..», «Предрассудок»; стихами — «Авроре Ш...» («Выдь, дохни нам упоеньем...»).

Познакомился Баратынский с рядом известных литераторов, среди которых — П. Мериме, А. де Сикур, А. де Виньи, Ш. Нодье, братья Тьерри, Ш.-О. Сен-Бёв, А. Ламартин и другие. Особенно радостно, видимо, было поэту встретиться с Мериме, которому он подарил экземпляр отдельного издания «Эды» и «Пиров», сделав на титульном листе надпись: «Просперу Мериме — переводчику нашего Пушкина. Евгений Баратынский». Именно этот экземпляр много позже в развалах парижских букинистов нашел И. Эренбург, рассказавший о находке в своей книге «Люди. Годы. Жизнь». И как бы в память о той встрече через четверть века И. С. Тургенев послал Мериме экземпляр первого посмертного собрания сочинений поэта, выпущенного в 1869 году его семьей.

Много времени проводит Баратынский и со своими соотечественниками, живущими в Париже. Это, в первую очередь, декабрист Н. И. Тургенев и его брат А. И. Тургенев, давний опекун поэта, много помогавший, как мы помним, ему в трудные минуты жизни. «Я вижу почти всякий день А. И. Тургенева», — сообщает поэт Путяте. Через него же передает поклоны Вяземскому, Плетневу и особенно Соболевскому, благодаря рекомендательным письмам которого сблизился со многими парижанами. Возможно, именно в доме Тургенева Баратынский «познакомился или возобновил знакомство с некоторыми земляками», ибо, как утверждает в письме к Путяте, «русские ищут русских в Париже и вообще в чужих краях». Среди них — молодые люди, близкие к А. И. Герцену. Это поэт и публицист Н. П. Огарев, поэт и переводчик

Н. М. Сатин, публицисты Н. И. Сазонов и И. Г. Головин.

Молодые русские революционеры, вынужденные жить в эмиграции, видели в Баратынском друга Пушкина и декабристов, дело которых они продолжали, а потому считали его своим союзником в борьбе за новую Россию. «Вне нашего маленького кружка из русских, — писал на родину весной 1844 года Н. Х. Кетчеру Сатин, — мы довольно сблизились здесь с Ев. Баратынским и нашли в нем теплую живую душу». А в августе того же года из Берлина сообщал Герцену: «В Париже мы сблизились с ним и полюбили его всей душой; он имел много планов и умер, завещая нам привести их в исполнение». Наконец, через год в письме к Огареву Сатин вновь говорит об интересе поэта к новым идеям: «Все люди, в которых есть жизнь, идут к нам и отказываются от своих современников... В прошедшем Барат., ныне Мельгунов». К письму Герцену было приложено стихотворение Сатина, посвященное памяти Баратынского:

> На жизнь смотрел хоть грустно он, но смело
> И все вперед спешил;
> Он жаждал дел, он нас сзывал на дело
> И верил в бога сил!
> О, сколько раз с горячим рукожатьем,
> С слезою на глазах,
> Он нам твердил: вперед, младые братья,
> Пред истиной все прах!

Возможно, что-то в этих радостных для почитателей Баратынского стихах преувеличено, но главное в настроениях поэта той поры схвачено, думается, верно. Еще за год до путешествия в письме к Путяте он сделал на первый взгляд несколько неожиданное признание, по сути своей более широкое, чем те дела, которые они обсуждали: «У меня солнце в сердце, когда я думаю о будущем. Вижу, осязаю возможность исполнения великого дела и скоро и спокойно». То же светлое и оптимистическое ощущение в письме другу из Парижа в конце декабря 1843 года: «Поздравляю вас, любезные друзья, с новым годом... желаю вам его лучше парижского... Поздравляю вас с будущим, ибо у нас его больше, чем где-либо; поздравляю вас с нашими степями, ибо это простор, который ничем

не заменят здешние науки; поздравляю вас с нашей зимой, ибо она бодра и блистательна и красноречием мороза зовет нас к движению лучше здешних ораторов, поздравляю вас с тем, что мы в самом деле моложе 12-ю днями других народов и посему переживем их, может быть, 12-ю столетьями».

Конечно, образ мыслей Баратынского, сформировавшегося под влиянием декабристских надежд и устремлений, и взгляды молодых революционеров, вступивших в самостоятельную жизнь в период реакции, во многом не совпадали. Но общей была вера в Россию, способную разорвать путы и вздохнуть полной грудью. Общим было и отношение к крепостному праву, самому страшному нарыву на теле страны, отравлявшему всю жизнь ее. По свидетельству Путяты, «уничтожение крепостного права постоянно занимало» мысли поэта. То же подтверждают и другие современники, хорошо знавшие Баратынского, например П. Г. Кичеев, вспоминавший, что отмена крепостничества была «самой задушевной» его идеей. Впоследствии Л. Е. Баратынский рассказывал, что на обеде, устроенном в Париже его отцом в честь русских эмигрантов, разговоры были «посвящены одной общей теме — уничтожению крепостного права». Во всяком случае, знакомство с революционно настроенной молодежью произвело на Баратынского весьма воодушевляющее впечатление, наполнило его верой в будущее и ощущением своей нужности согражданам. «Наши здешние знакомые, — писал он Путяте, покидая Париж в начале весны 1844 года, — нам показали столько благоволительности, столько дружбы, что залечили старые раны».

Впереди был Марсель, куда через пять дней после отъезда из Парижа прибыли Баратынские. Здесь они сели на пароход, идущий в Неаполь. Радостно было поэту наконец-то увидеть воочию «Элизий земной», о котором мечталось столько долгих и трудных лет, все его существо жило ожиданием этой встречи, но уже более полугода он находился вдали от России, притягивавшей как магнитом. «Хотя хорошо за границей, — делился Баратынский с Путятой в последнем парижском письме, — я жажду возвращения на родину. Хочется вас видеть и по-русски поболтать о чужеземцах». Схоже по настроению и письмо к матери из

Марселя: «Я вернусь в мою родину исцеленным от многих предубеждений и с полной снисходительностью к некоторым нашим истинным недостаткам, которые мы часто с удовольствием преувеличиваем».

Морское путешествие еще более приободрило Баратынского. Для него, с детства тянувшегося к полной опасностей и величия морской службе, писавшего в «Буре» (1824): «Как жаждал радостей младых Я на заре младого века, Так ныне, океан, я жажду бурь твоих», этот трехдневный переезд до Неаполя стал воистину переломным. В последние годы и особенно месяцы в душе поэта вызревали мощные ростки какой-то новой жизни, какого-то иного мироощущения. Изредка они пробивались в задушевных разговорах, в письмах. Но сейчас, на корабле, ночью, они вспыхнули творческим озарением и напитали строки светлого, как обретенная мечта, и радостного, как свершившаяся надежда, стихотворения «Пироскаф».

В нем всколыхнулось давнее:

С детства влекла меня сердца тревога
В область свободную влажного бога;
Жадные длани я к ней простирал.
Темную страсть мою днесь награждая,
Кротко щадит меня немочь морская,
Пеною здравия брызжет мне вал!

В нем прозвучало счастье близкой встречи, такой жданной:

Нужды нет, близко ль, далеко ль до брега!
В сердце к нему приготовлена нега.
Вижу Фетиду; мне жребий благой
Емлет она из лазоревой урны:
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной!

В нем, наконец, Баратынский стряхнул с себя оцепенение прошлого, всем сердцем открылся будущему. По своей бодрости, биографической искренности, устремленности вперед, к неизведанному и прекрасному, строки «Пироскафа» знаменовали обновление Баратынского, человека и поэта:

Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою

Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ!

Этим же настроением наполнено первое письмо Путятам из Италии, которую, по выражению поэта, «за все ее заслуги должно бы на карте означить особой частью света»: «Вот Неаполь! Я встаю рано. Спешу открыть окно и упиваюсь живительным воздухом. Мы поселились в **Villa Reale**, над заливом, между двух садов. Вы знаете, что Италия не богата деревьями; но где они есть, там они чудно прекрасны. Как наши северные леса, в своей романтической красоте, в своих задумчивых зыбях, выражают все оттенки меланхолии, так ярко-зеленый, резко отделяющийся лист здешних деревьев живописует все степени счастья. Вот проснулся город: на осле, в свежей зелени итальянского сена, испещренного малиновыми цветами, шажком едет неаполитанец полуголый, но в красной шапке; это не всадник, а блаженный. Лицо его весело и гордо. Он верует в свое солнце, которое никогда его не оставит без призрения». Так радоваться жизни может только счастливый человек, который любит других людей и другие земли, потому что любит свою.

Из окон квартиры, где жили Баратынские, был прекрасный вид на неаполитанский залив. Семья часто выезжала на прогулки в окрестности города, побывали в Помпее, Салерно, Сорренто, где родился великий итальянский поэт Торквато Тассо. «Мне эта жизнь отменно по сердцу, — пишет в июне 1844 года Баратынский Путяте, — гуляем, купаемся, потеем и ни о чем не думаем...» Баратынский возобновил знакомство с Зинаидой Волконской. Сблизился с художником А. А. Ивановым, но в общем почти ни с кем другим не общался, словно желая продлить ощущение независимости и безмятежности, сохранить в неприкосновенности тот удивительный мир красоты, который подарила Италия. Видимо, тогда же, в июне, из-под его пера вылилось радостное и благородное стихотворение «Дядьке-итальянцу», посвященное памяти Джьячинто Боргезе, который впервые много лет назад заронил в душу любовь к прекрасной стране. Похоже, что

это стихотворение, как и «Пироскаф», почти не переправлялось поэтом — во второй половине июня они были через Путяту посланы Плетневу для публикации в «Современнике» — так искренне и легко, от всего сердца писалось Баратынскому. Может быть, впервые в жизни. Во всяком случае, в последний раз.

Еще на корабле, при переезде из Марселя в Неаполь, у Анастасии Львовны обострилась прежняя болезнь. Доктор, порекомендованный Волконской, предписал ей морские ванны и местные минеральные воды. Это задержало Баратынских в Неаполе, а впереди виделись Рим, Флоренция, Вена, которая должна стать последней остановкой перед Россией. Сам поэт, несмотря на веселость, физически тоже чувствовал себя не лучшим образом. Он страдал частыми приступами лихорадки и головными болями, к тому же перед отъездом из Парижа сильно простудился. Врачи не советовали ехать в таком состоянии в Италию, опасаясь, что жаркий климат неблагоприятно скажется на расстроенном здоровье.

Болезнь жены очень беспокоила Баратынского. Во время одного из приступов боли, когда доктор порекомендовал сделать больной кровопускание, поэт так встревожился, что сам слег. Ночью его состояние ухудшилось, и к утру Баратынский скоропостижно скончался. Это произошло 29 июня (11 июля по новому стилю) 1844 года. Баратынскому было 44 года. Словно предчувствуя неожиданную смерть, в последнем письме к Путяте он отдал ряд хозяйственных распоряжений и передал прощальные поклоны Плетневу, Соболевскому и Вяземскому. Здесь же находились стихотворения «Пироскаф» и «Дядьке-итальянцу», напечатанные в «Современнике» в том же году. Так, на высокой ноте, стоя на пороге творческого обновления, Баратынский ушел из жизни.

Только через год тело поэта в кипарисовом гробу было перевезено из Неаполя в Петербург. Похороны состоялись на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в пятницу, 31 августа 1845 года. Присутствовали лишь родные и близкие друзья — Плетнев, Вяземский, Одоевский... Могила поэта расположена, как писал Плетнев Я. К. Гроту, «близ Крылова, Гнедича и Карамзина». Через пятнадцать лет рядом с мужем похоронили Анастасию Львовну.

ЧИТАТЕЛЯ НАЙДУ В ПОТОМСТВЕ Я

Евгений Баратынский прожил сравнительно короткую и непростую жизнь. Познал и радости, и обиды, и горечь утрат, и счастье обретения, сладость и тяжесть поэтического вдохновения и заботы повседневного человеческого труда во имя близких. Были у него друзья и недруги. Первых он искренне любил глубинной, сердечной любовью и болезненно переживал, чувствуя в них кажущиеся или действительные к себе перемены. От нападок вторых страдал, но всегда прямо и смело давал им отпор и стремился стать выше мелочных обид. И в жизни, и в поэзии он был самобытен, самостоятелен и независим, никогда не кланялся и не заискивал, а твердо и честно исполнял свой долг — гражданина, художника, семьянина.

Духовная биография Баратынского складывалась напряженно. С детства почуяв в себе поэтический дар, он долго не мог обрести единомышленников, которые бы поняли и поддержали. Чрезвычайно требовательный к себе, он не сразу решился выступить перед публикой. Эта же беспощадная требовательность к собственному дарованию всю жизнь заставляла его до изнурения шлифовать каждую строку, выходящую к читателям, многократно возвращаться к написанному и напечатанному, вновь переделывать и править.

Баратынский начал как поэт элегического направления, быстро завоевал популярность у читателей и авторитет у критики и собратьев по поэтическому цеху. Но не умея довольствоваться достигнутым, он твердо шел вперед по пути, определенном его талантом, руководствуясь самыми высокими мерками. На этом пути Баратынский постоянно ощущал поддержку лучших писателей своего времени, прежде всего — Пушкина, который всегда и во всем братски помогал поэту. Шел все вперед и вперед, мучительно размышляя о предназначении человека и его судьбе, напряженно ища свою единственную дорогу в поэзии, пробуя и

борясь с трудностями жизни и поэзии, всегда оставаясь самим собой.

И при жизни, и в восприятии последующих читательских поколений Баратынский стал признанным мастером — едва ли не первым в отечественной литературе поэтом-философом. Никто, пожалуй, до него так глубоко не заглядывал в тайны человеческого бытия и не обнажал так бесстрашно в слове свои раздумья. И, пожалуй, никто до него так остро не скорбел об утратах человеческой души под ударами «железного века» и так страстно не желал человеку и миру гармонии. Поэзия Баратынского выразила самую суть переломной эпохи, когда надежды декабристов были задавлены безжалостной рукой власти, когда исторические перемены властно заявили о себе в России, потерявшей старые «кумиры» и еще не нашедшей новые. В стихах Баратынского — духовная драма его поколения.

Не во всех процессах общественной жизни Баратынский сумел верно разобраться. Где-то не хватило исторического чутья, где-то увлекла романтическая идея, столь притягивавшая на протяжении многих лет лучшие головы русской литературы. Но как честный мыслитель, как искренний поэт он, и ошибаясь, продолжал искать правду и говорить ее людям, верно служить искусству, ибо считал, что любовь к добру и красоте обязывает его исполнять долг поэта до конца. «Высокая моральность мышления» — вот что питало в нем стремление не изменять своему назначению, ибо, утаив струны, он не услышит ни бед, ни радостей родной земли. А без этого невозможно слово поэта, которое есть его дело.

Самим своим беспокойным существом поэзия Баратынского устремлена в будущее. Скорбя от несправедливости мироустройства, страдая от невозможности его изменить, он всегда мечтал сохранить духовность бытия, сберечь в себе и в людях изначальную основу человеческой жизни. И искал рядом с собой и во времени родные души, чтобы передать им свою веру в человека. Припомним вновь его проникновенное обращение и к современникам, и к нам, читателям дня сегодняшнего:

Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли мое

Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.

Нашел? Нашел! Имя Евгения Баратынского — в числе тех, что современный читатель произносит с гордостью и ставит в ряд лучших отечественных художников слова. Периодически в центральных и местных издательствах выходят сборники его стихов — и мгновенно раскупаются. На страницах газет и журналов нередки сообщения о новых находках, связанных с именем поэта. Созданы государственный музей в подмосковном Муранове и школьный в Казани, который не так давно также получил статус государственного. О Баратынском написано несколько художественных произведений. Для изучения его жизни и творчества немало делают советские историки литературы, ряд значительных исследований подготовлен зарубежными учеными. Имя поэта с полным основанием значится в школьных и вузовских курсах литературы.

И это — не простая вежливость потомков: наш народ памятлив, он хорошо помнит свое родство, свято чтит слово и дело, положенное в фундамент советской культуры. Наша память о Баратынском активна, и нам ее множить...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Поэт и его читатели 3
Глава первая. Утро жизни 13
Семья Баратынских . . . . —
Благодатная Мара 17
Неудавшийся паж 22
Отверженный 35
Глава вторая. Судьбой наложенные цепи 41
Семейство добрых муз . . . . —
Певец Финляндии 57
Свободу дайте мне 68
Глава третья. Кумиры сердца 81
Московский житель . . . . —
В этом роде он первенствует 89
Как младший к старшему 114
Будем мыслить в молчании 143
Глава четвертая. Сны зимней ночи 177
Последний поэт . . . . —
Дарование есть поручение 189
Поздравляю вас с будущим 196
Читателя найду в потомстве я 205

Учебное издание

СТЕЛЛИФЕРОВСКИЙ ПАВЕЛ АНТОНИНОВИЧ

Евгений Абрамович Баратынский

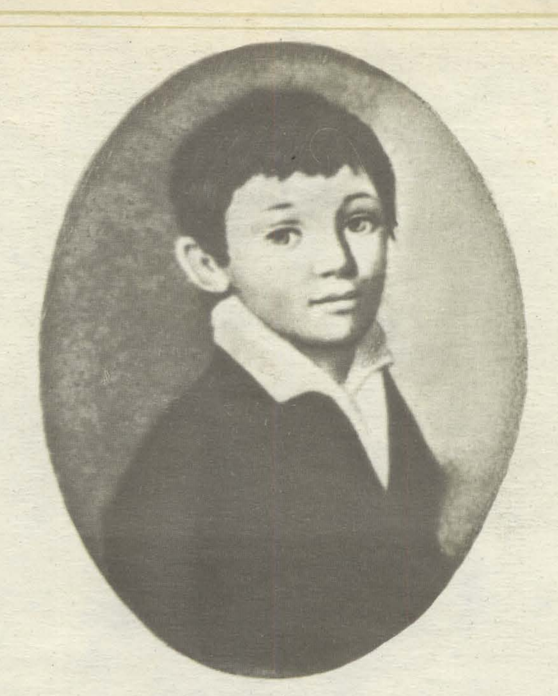
Зав. редакцией *В. П. Журавлев*
Редактор *Ю. Д. Тарасов*
Младший редактор *Е. Е. Ивасюк*
Художник *О. М. Иванова*
Художественный редактор *Т. А. Алябьева*
Технические редакторы *Н. Н. Махова, Н. Н. Матвеева*
Корректор *И. Н. Панкова*

ИБ № 11258

Сдано в набор 29 04 87. Подписано к печати 20 01.88. А05613. Формат 84×108 1/32 Бум кн. журн. отечеств. Гарнит литературная. Печать высокая. Усл печ. л 10,92+ +0,84 вкл. Усл кр.-отт 12,92. Уч -изд л. 11,08+0,98 вкл. Тираж 200 000 экз. Заказ 370
Цена 55 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 129846 Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль ул Свободы, 97.



Баратынский в детстве.

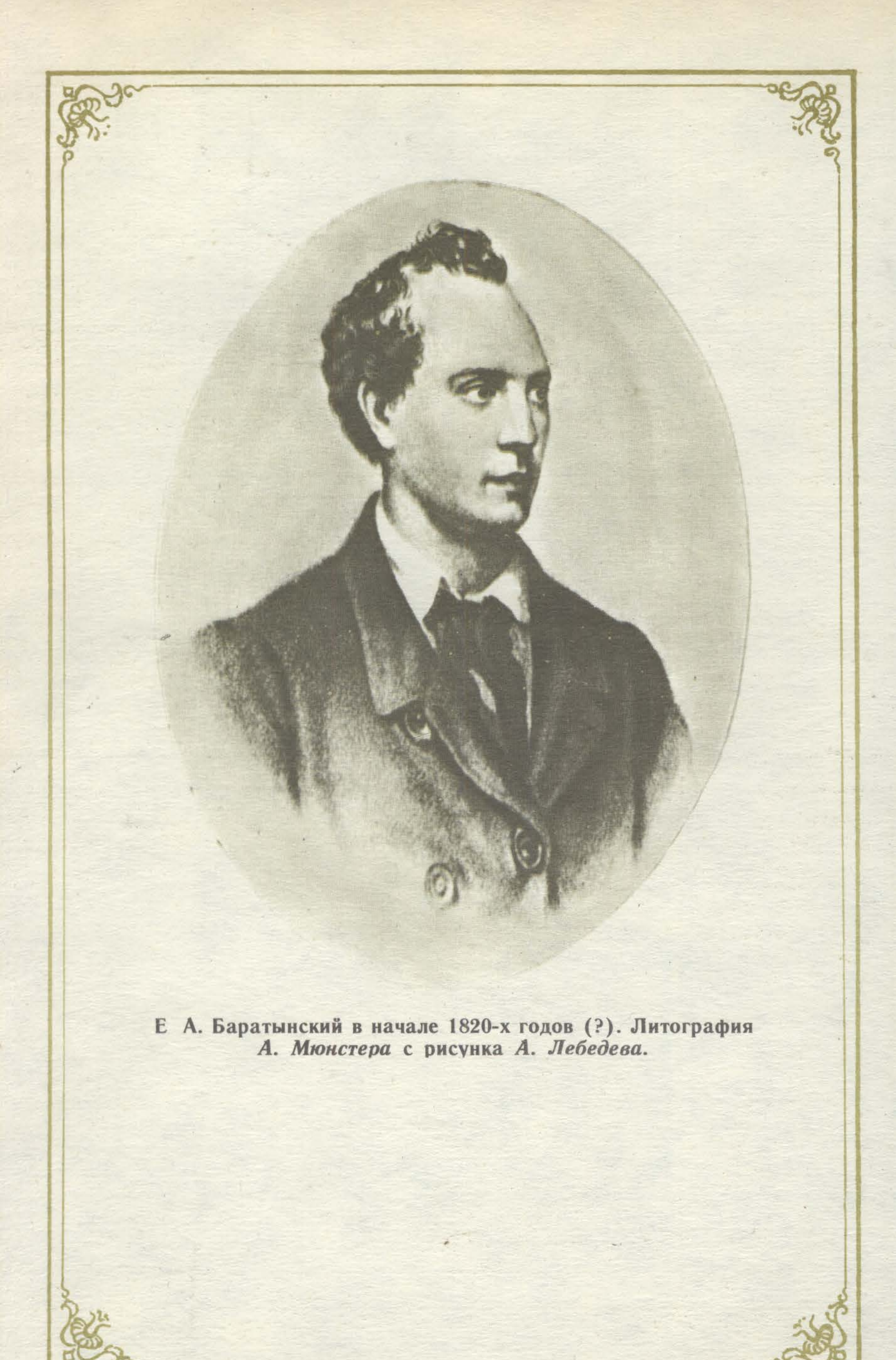


А. А. Баратынский, отец поэта. Портрет работы неизвестного художника. Конец XVIII века.



А. Ф. Баратынская, мать поэта. Рисунок *Баратынского*.





Е А. Баратынский в начале 1820-х годов (?). Литография *А. Мюнстера* с рисунка *А. Лебедева.*

Е. А. Баратынский. Автопортрет.

Рисунок Баратынского в семейном альбоме. 1816.





Е. А. Баратынский. Портрет работы *Ж. Вивьена*. 1826 (?).

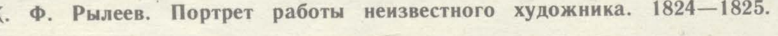


А. Л. Баратынская. Портрет работы неизвестного художника.
30-е годы XIX века.






А. С. Пушкин. Портрет работы *Ж. Вивьена.* Конец 1826 — начало 1827 г.
А. А. Дельвиг. Портрет работы *В. Лангера.* 1830.
В. А. Жуковский. Портрет работы *К. Брюллова.* 1835.
К. Ф. Рылеев. Портрет работы неизвестного художника. 1824—1825.








П. А. Вяземский. Портрет работы *О. Кипренского*. 1835.

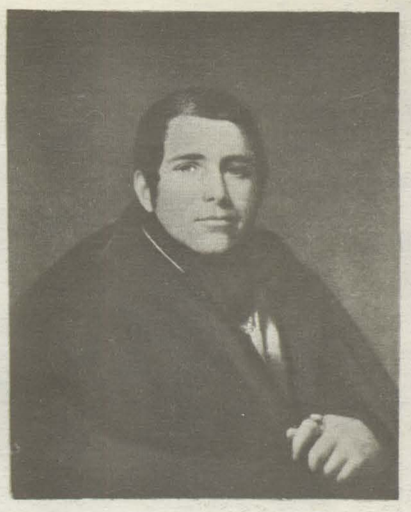
В. К. Кюхельбекер. Рисунок *А. Пушкина*. 1826.

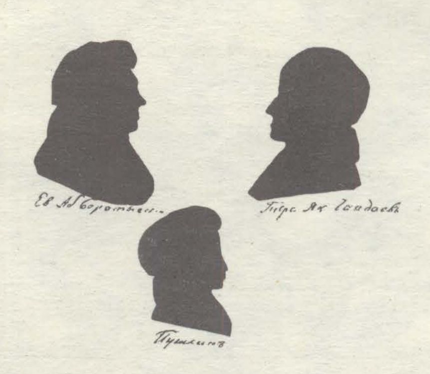
И. В. Киреевский (слева) и В. А. Елагин. Рисунок *Э. Дмитриева-Мамонова*.











В. Ф. Одоевский.
П. А. Плетнев. Портрет работы *А. Тыранова.* 1836.
Е. А. Баратынский, П. Я. Чаадаев, А. С. Пушкин. Силуэты *И. Киреевского.* 1830 (?).



А. И. Тургенев. Портрет работы *А. Кестнера* 1833.
Н. В. Путята. Портрет работы неизвестного художника.
Д. В. Давыдов. Портрет работы *Г. Гампельна.*



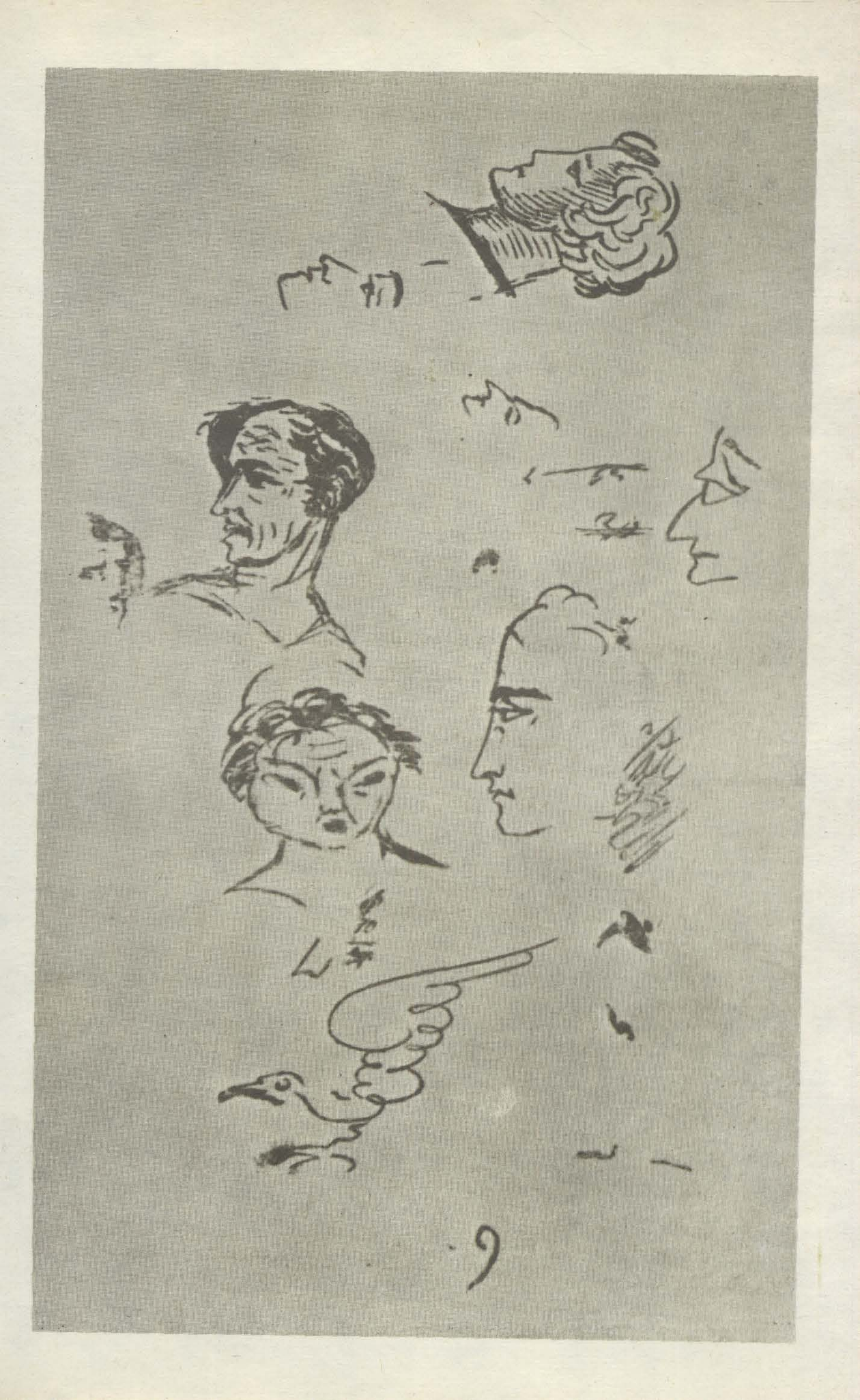
Е. А. Баратынский в конце 1820-х годов. Литография 1828 г.

Факсимиле стихотворения Баратынского «Обеды» («Я не люблю хвастливые обеды...»). 1839.



Е. А. Баратынский в начале 1830-х годов. Гравюра, приложенная к изданию сочинений поэта в 1835 г.

Рисунки Пушкина на черновике последней статьи о Баратынском (профиль поэта — в центре). 1830—1831.



СТИХОТВОРЕНІЯ

Евгенія Баратынскаго.

Часть II.



МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАФІИ АВГУСТА СЕМЕНА,

[illegible]

1835

СТИХОТВОРЕНІЯ

ЕВГЕНІЯ БАРАТЫНСКАГО.



МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАФІИ АВГУСТА СЕМЕНА,

ПРИ ИМПЕРАТОРСКОЙ МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКОЙ АКАДЕМІИ.

1827.



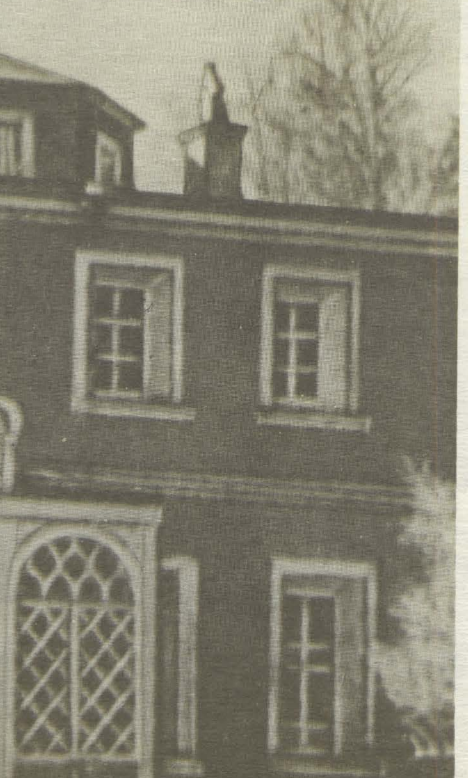
ЭДА,
ФИНЛЯНДСКАЯ ПОВѢСТЬ,
И
ПИРЫ,
ОПИСАТЕЛЬНАЯ ПОЭМА,
Евгенія Баратынскаго.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
Въ типографіи Департамента народнаго просвѣщенія.
1826.

СУМЕРКИ.
СОЧИНЕНІЕ
Евгенія Баратынскаго.

МОСКВА.
Въ типографіи А. Семена
при Императорской Медико-Хирургической Академіи
1842.

Титульные листы прижизненных изданий стихотворений и поэм Баратынского.



Дом поэта в Муранове (вид до современной реставрации).











Е. А. Баратынский в изданиях последних лет.

Не ослеплён я музою моею:
Красавицей её не назовут,
И юноши, узрев её, за нею
Влюблённою толпой не побегут.
Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз,блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражен бывает мельком свет
Её лица необщим выраженьем,
Её речей спокойной простотой;
И он скорей,чем едким осужденьем,
Её почтит небрежной похвалой.

55 к.

